ЖИЗНЬ ДАНТЕ

I
НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ

«Incipit vita nova», – перед этим заголовком в книге памяти моей не многое можно прочесть», – вспоминает Данте о своем втором рождении, бывшем через девять лет после первого, потому что и он, как все дети Божии, родился дважды: в первый раз от плоти, а во второй – от Духа[1].

Если кто не родится... от Духа, не может войти в Царствие Божье (Ио. 3, 5).

Но чтобы понять второе рождение, надо знать и первое, а это очень трудно: Данте, живший во времени, так же презрен людьми и забыт, как живущий в вечности.

Малым кажется великий Данте перед Величайшим из сынов человеческих, но участь обоих в забвении, Иисуса Неизвестного – неизвестного Данте, – одна. Только едва промелькнувшая, черная на белой пыли дороги тень – человеческая жизнь Иисуса; и жизнь Данте – такая же тень.

...Я родился и вырос
В великом городе, у вод прекрасных Арно[2].

В духе был город велик, но вещественно мал: Флоренция Дантовых дней раз в пятнадцать меньше нынешней; городок тысяч в тридцать жителей, – жалкий поселок по сравнению с великими городами наших дней[3].

Тесная, в третьей и последней, при жизни Данте, ограде зубчатых стен замкнутая, сжатая, как нераспустившийся цветок, та водяная лилия Арнских болот, сначала белая, а потом, от льющейся в братоубийственных войнах, крови сынов своих, красная, или от золота червонцев, червонная лилия, что расцветет на ее родословном щите, – Флоренция была целомудренно-чистою, как тринадцатилетняя девочка, уже влюбленная, но сама того не знающая, или как ранняя, еще холодная, безлиственная и безуханная весна.

Стыдливая и трезвая, в те дни,
Флоренция, в ограде стен старинных,
С чьих башен несся мерный бой часов,
Покоилась еще в глубоком мире.
Еще носил Беллинчионе Берти
Свой пояс, кожаный и костяной;
Еще его супруга отходила
От зеркала, с некрашеным лицом...
Еще довольствовались жены прялкой.
Счастливые! спокойны были, зная,
Что их могила ждет в родной земле,
И что на брачном ложе не покинут
Их, для французских ярмарок, мужья.
Одна, качая колыбель младенца,

Баюкала его родною песнью,
Что радует отца и мать; другая
С веретена кудель щипала, вспоминая
О славе Трои, Фьезоле и Рима[4].

Данте обманывает себя в этих стихах, волшебным зеркалом памяти: мира не знала Флоренция и в те дни, которые кажутся ему такими счастливыми. Годы мира сменялись веками братоубийственных войн, что запечатлелось и на внешнем облике города: темными, острыми башнями весь ощетинился, как еж – иглами. «Город башен», citta turrita[5], – в этом имени Флоренции ее душа – война «разделенного города», citta partita[6]. Самых высоких, подоблачных башен, вместе с колокольнями, двести, а меньших – почти столько же, сколько домов, потому что каждый дом, сложенный из огромных, точно руками исполинов обтесанных, каменных глыб, с узкими, как щели бойниц, окнами, с обитыми железом дверями и с торчащими из стен, дубовыми бревнами для спешной кладки подъемных мостов, которые, на железных цепях, перекидывались из дома к дому, едва начинался уличный бой, – почти каждый дом был готовой к междоусобной войне, крепостною башнею[7].

Данте родился в одном из таких домов, в древнейшем сердце Флоренции, куда сошли с горы Фьезоле первые основатели города, римляне. Там, на маленькой площади, у церкви Сан-Мартино-дель-Весково, рядом с городскими воротами Сан-Пьетро, у самого входа в Старый Рынок, на скрещении тесных и темных улочек, находилось старое гнездо Алигьери: должно быть, несколько домов разной высоты, под разными крышами, слепленных в целое подворье, или усадьбу, подобно слоям тех грибных наростов, что лепятся на гниющей коре старых деревьев[8].

Данте был первенец мессера Герардо Алигьеро ди Беллинчионе (Gherardo Alighiero di Bellincione) и монны Беллы Габриэллы, неизвестного рода, может быть, Дельи Абати (degli Abati)[9].

Памятным остался только год рождения, 1265-й, а день – забыт даже ближайшими к Данте по крови людьми, двумя сыновьями, Пьетро и Джакопо, – первыми, но почти немыми, свидетелями жизни его. Только по астрономическим воспоминаньям самого Данте о положении солнца в тот день, когда он «в первый раз вдохнул тосканский воздух»[10], можно догадаться, что он родился между 18 мая, вступлением солнца под знак Близнецов, и 17 июня, когда оно из-под этого знака вышло[11].

Имя, данное при купели, новорожденному, – Durante, что значит: «Терпеливый», «Выносливый», и забытое для ласкового, уменьшительного «Dante», – оказалось верным и вещим для судеб Данте.

Древний знатный род Алигьери – от рода Элизеев, кажется, римских выходцев во дни Карла Великого, – захудал, обеднел и впал в ничтожество[12—13]. В списке знатных, флорентийских, гвельфовских и гибеллиновских родов он отсутствует[14]. Может быть, уже в те дни, когда родился Данте, принадлежал этот род не к большой рыцарской знати, а к малой, piccola nobilita, – к тому среднему сословию, которому суждено было выдвинуться вперед и занять место древней знати только впоследствии[15—16].

Данте не мог не видеть, как потускнело «золотое крыло в лазурном поле», на родословном щите Алигьери[17], и хорошо понимал, что слишком гордиться знатностью рода ему уже нельзя; понимал и то, что гордиться славою предков глупо и смешно вообще, а такому человеку, как он, особенно, – потому что «благородство человека – не в предках его, а в нем самом»[18]. Но и понимая это, все-таки гордился.

Я не дивлюсь тому, что люди на земле
Гордятся жалким благородством крови:

Я ведь и сам гордился им на небе[19], —

кается он, после встречи, в раю, с великим прапрадедом своим, Качьягвидой Крестоносцем. Чувствует, или хотел бы чувствовать, в крови своей «ожившее святое семя» тех древних римлян, что основали Флоренцию[20]. Но римское происхождение Алигьери «очень сомнительно», – замечает жизнеописатель Данте, Леонардо Бруни[21].

Может быть, далекою славою предков Данте хочет прикрыть ближайший стыд отца. «В сыне своем ему суждено было прославиться более, чем в себе самом», – довольно зло замечает Боккачио[22]. Это значит: единственное доблестное дело Алигьери-отца – рождение такого сына, как Данте. Будучи Гвельфского рода, он, за пять лет до рождения Данте, был изгнан из Флоренции, со всеми остальными Гвельфами, но подозрительно скоро, прощенный, вернулся на родину: так, обыкновенно, прощают, в борьбе политических станов, если не изменников, то людей малодушных.

Кажется, неудачный юрисконсульт или нотарий, сер Герардо пытался умножить свое небольшое наследственное имение отдачей денег в рост и был если не «ростовщиком», в точном смысле слова, то чем-то вроде «менялы» или «биржевого маклера»[23—24]. Данте, может быть, думает об отце, когда говорит о ненавистной ему породе новых денежных дельцов:

...Всякий флорентинец, от рожденья, —
Меняла или торгаш[25].

О нем же думает он, может быть, и в преддверии ада, где мучаются «малодушные», ignavi, «чья жизнь была без славы и стыда», «не сделавшие выбора между Богом и дьяволом», «презренные и никогда не жившие»[26].

По некоторым свидетельствам, впрочем, неясным, – сер Герардо, за какие-то темные денежные дела, был посажен в тюрьму, чем навсегда запятнал свою память[27].

Данте был маленьким мальчиком, когда впервые, почти на его глазах, пролита была, в каиновом братоубийстве, человеческая кровь: дядя его, брат отца, Жери дэль Бэлло (Geri del Bello), убив флорентийского гражданина из рода Саккетти, злодея и предателя, жившего в соседнем доме, сам вскоре был злодейски и предательски убит. Старшему в роде, серу Герардо, брату убитого, должно было, по закону «кровавой мести», vendetta, отомстить за брата; а так как это не было сделано, то второй вечный позор пал на весь род Алигьери[28].

Данте встретит, в аду, тень Жери дэль Бэлло.

Он издали мне пальцем погрозил;
И я сказал учителю: «За смерть
Не отомщенную меня он презирает»[29].

Бывший друг, сосед и родственник Данте, Форезе Донати, в бранном сонете, жестоко обличает этот позор отца и сына:

...Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же трус презреннейший, как он[30].

Зная исступленную, иногда почти «сатанинскую», гордыню Данте, можно себе представить, с каким чувством к отцу, тогда уже покойному, он должен был, молча, проглотить обиду. Вот, может быть, почему никогда, ни в одной из книг своих, ни слова не говорит он

об отце: это молчание красноречивее всего, что он мог бы сказать. Страшен сын, проклинающий отца; но еще страшнее – молча его презирающий.

В небе Марса, увидев живое светило, «топаз живой»[31], – великого прапрадеда своего, Качьягвидо, Данте приветствует его, со слезами гордой радости:

Вы – мой отец[32].

Это значит: «Мой отец, настоящий, единственный, – вы; другого я знать не хочу».

О, ветвь моя... я корнем был твоим! —

отвечает ему тот[33].

Какою гордостью, должно быть, блестели глаза правнука, когда Качьягвидо ему говорил:

Конраду императору служа,
Я доблестью был так ему любезен,
Что в рыцари меня он посвятил;
И с ним ходил я во Святую Землю,
Где мучеников принял я венец[34].

Мать Данте умерла, когда ему было лет шесть, родив, после него, еще двух дочерей. Судя по тому, как Данте, в «Новой жизни», вспоминает об одной из них, брат и сестра нежно любили друг друга[35]. Сер Герардо, после пяти лет вдовства, женился второй раз на монне Лаппе ди Чалуффи (Lappa di Cialuffi)[36]. Если бы Данте не помнил и не любил матери с благоговейной нежностью, то не повторил бы устами Виргилия, о себе и о ней, странно не боясь, или не сознавая кощунства, – того, что сказано о Христе и Божьей Матери:

...Благословенна
Носившая тебя во чреве[37].

В детстве неутоленную, и потом уже ничем не утолимую, жажду материнской любви Данте будет чувствовать всю жизнь, и чего не нашел в этом мире, будет искать в том. В нежности «сладчайшего отца» его, Виргилия, будет сниться ему материнская нежность, как умирающему от жажды снится вода[38]. В страшные минуты неземного странствия прибегает он к Виргилию с таким же доверием, с каким

Дитя в испуге,
Или в печали, к матери бежит[39].

В безднах ада, когда гонятся за ним разъяренные дьяволы, чтобы унести, может быть, туда, откуда нет возврата, Виргилий спасает его:

Взяв за руки меня, он так бежал,
Как ночью мать, проснувшись от пожара
И спящее дитя схватив, бежит[40].

«Господи... не смирял ли я и не успокаивал ли я души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди» (Пс. 130, 1—2): это Данте почувствовал с самого начала жизни и будет чувствовать всю жизнь.

Кем он оставлен в большем сиротстве – умершей матерью или живым отцом, – этого он, вероятно, и сам хорошенько не знает. Стыдный отец хуже мертвого. Начал жизнь тоской по отцу, – кончит ее тоской по отечеству; начал сиротой, – кончит изгнанником. Будет чувствовать всегда свое земное сиротство, как неземную обиду, – одиночество, покинутость, отверженность, изгнание из мира.

«Я ушел туда, где мог плакать, никем не услышанный, и, плача, я заснул, как маленький прибитый ребенок», – вспоминает он, в юности, об одной из своих горчайших обид[41].

Вот что значит «гордая душа» – у Данте[42]: миром «обиженная», – не презирающая мира, а миром презренная душа[43].

II
ДРЕВНЕЕ ПЛАМЯ

Темные башни Флоренции еще темнее на светлом золоте утра. Самая темная изо всех та, что возвышается над маленькой площадью Сан-Мартино-дель-Весково, в двух шагах от дверей дома Алигьери, – четырехугольная, тяжелая, мрачная, точно тюремная, башня дэлла Кастанья[1]. Каждое утро, на восходе солнца, тянется черная, длинная тень от нее по тесной улочке Санта-Маргерита, соединяющей дом, где живет девятилетний мальчик Данте, сын бедного бесславного менялы сера Герардо, – с домом восьмилетней девочки, Биче, дочери вельможи, купца и тоже менялы, но славного и богатого, Фолько Портинари. Сто шагов от дома к дому, или, на языке пифагорейских – дантовских чисел: девяносто девять – трижды тридцать три. Врежется в живую душу Данте это число, мертвое для всех и никому непонятное, – Три, – как в живое тело, в живое сердце, врезается нож.

В черной от башни тени, на белую площадь утренним солнцем откинутой, плачет маленький мальчик от земного сиротства, как от неземной обиды; и вдруг перестает плакать, когда в щели, между камнями башни, под лучом солнца, вспыхивает красный весенний цветок, точно живое алое пламя, или капля живой крови. Глядя на него, все чего-то ждет или что-то вспоминает, и не может вспомнить. Вдруг вспомнил: «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, – не только для него, но и для всего мира, – Новая Любовь, Новая Весна.

15 мая 1275 года произошло событие, величайшее в жизни Данте и одно из величайших в жизни всего человечества.

«Девять раз (девять – трижды Три: это главное, что он поймет уже потом, через девять лет, и что врежется в сердце его, как огненный меч Серафима) – девять раз, от моего рождения, Небо Света возвращалось почти к той же самой точке своего круговращения, – когда явилась мне впервые... облеченная в одежду смиренного и благородного цвета, как бы крови, опоясанная и венчанная так, как подобало юнейшему возрасту ее, – Лучезарная Дама души моей, называвшаяся многими, не знавшими настоящего имени ее, – Беатриче»[2].

Вспыхнул под лучом солнца, в щели камней, красный весенний цветок, как живое пламя или капля живой крови: вот чего он ждал, что хотел и не мог вспомнить.

...«И я сказал: вот бог, сильнейший меня; он приходит, чтобы мною овладеть»[3]. Этого не мог бы сказать, ни даже подумать девятилетний мальчик, но мог почувствовать великую, божественную силу мира – Любовь.

Эта «Лучезарная Дама», gloriosa donna, – восьмилетняя девочка, Биче Портинари, – для тех, кто не знает ее настоящего, неизреченного имени. Но девятилетний мальчик, Данте Алигьери, узнал – вспомнил Ее, а может быть, и Она его узнала. Вспомнили – узнали оба то, что было и будет в вечности.

В этой первой их встрече, земной, произошло то же, что произойдет и в последней, небесной: та же будет на Ней и тогда «одежда алая, как живое пламя»[4], – живая кровь (что в земном теле – кровь, то в небесном – пламя); так же узнает он Ее и тогда:

И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать
Душа моя, в блаженстве, перед Нею,
Я, прежде, чем Ее мои глаза
Увидели, – уже по тайной силе,
Что исходила от Нее, – узнал*,*
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к Ней, древняя, как мир.
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз;
И, обратясь к Виргилию, с таким же
Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему: «Я весь дрожу,
Вся кровь моя оледенела в жилах;
Я древнюю любовь мою узнал»[5].

Нет никакого сомнения, что Данте, говоря о себе устами Беатриче:

Он в жизни новой *был таким,*
Что мог бы в ней великого достигнуть[6], —

связывает эти две встречи с Нею, – первую, земную, в «Новой жизни», и последнюю, небесную, в «Комедии»: это будет на небе, потому что было на земле; будет всегда и для всех, в вечности, потому что было для него однажды, во времени, – в такую-то минуту, в такой-то час, такого-то дня: 15 мая 1275 года от Р. Х., 10-го – от рождения Данте.

Как это ни удивительно и ни мало вероятно для нас, нет сомнения, что девятилетний мальчик, Данте, был, в самом деле, *влюблен* в восьмилетнюю девочку. Биче.

Едва девятое круговращенье солнца
Исполнилося в небе надо мной,
Как я уже любил[7].

К девятилетнему мальчику пришла, в самом деле, восьмилетняя девочка, «с тем огнем», в котором он «всегда будет гореть». Первый ожог этого огня он почувствовал не только в душе, но и в теле, как чувствует его пораженный молнией.

В тот день, когда она явилась мне...
Я был еще ребенком, но внезапно
Такую новую узнал я страсть...
Что пал на землю, в сердце пораженный,
Как молнией[8].

«Что за лицо у бога Любви?» – спрашивает Платон и отвечает: «молниеносное», opsis astrapousa. То же лицо и у Ангела, явившегося женам у гроба воскресшего Господа: «было лицо его, как молния» (Мт. 28, 3).

Данте мог бы сказать, уже в день той первой встречи с Нею, как скажет потом, через сорок лет:

Я древнюю любовь мою узнал.

Между этими двумя встречами, земной и небесной, вся его жизнь – песнь Беатриче:

С тех юных дней, как я ее увидел
Впервые на земле, ей песнь моя,
До этого последнего виденья,
Не прерывалась никогда[9].

Это глубоко и верно понял Боккачио: «С того дня, образ ее... уже никогда, во всю жизнь не отступал от него»[10].

Может быть, главное для Данте блаженство в этой первой встрече – то, что кончилось вдруг его земное сиротство – неземная обида, и что снова нашел он потерянную мать. Девятилетний мальчик любит восьмилетнюю девочку, «Лучезарную Даму души своей», как Сестру – Невесту – Мать, одну в Трех. Сердце его обожгла – и след ожога навсегда в нем останется – молния Трех.

III
ДВА ВМЕСТО ТРЕХ

Данте родился под созвездием Близнецов. Два Близнеца были на небе, два согласно-противоположных Двойника; те же Два будут и на земле в душе самого Данте: Вера и Знание; и душа его между ними разделится надвое.

О, чудное созвездье Близнецов,
О, Свет могучий, весь мой дар, я знаю,
Каков бы ни был он, я принял от тебя...
Под знаменьем твоим я родился
И в первый раз вдохнул тосканский воздух.
Потом, когда вступил я в звездные колеса
Здесь, в высоте вращающихся сфер, —
Твоя назначена была мне область.
Тебя же, ныне, воздыхая снова,
Душа моя благоговейно молит:
Подай мне силу кончить трудный путь![1]

Надо будет Данте пройти до конца, под знаком Двух, не только на земле, но и на небе, весь «трудный путь» разделения, чтобы достигнуть соединения под знаком Трех.

Мудрым звездочетам тех дней было известно, что рожденные под звездным знаком Близнецов предназначены к великому знанию.

Коль будешь верен ты своей звезде,
То дверь свою тебе откроет Слава[2], —

предскажет и Брунетто Латини, учитель, ученику своему, Данте, вероятно, потому, что манит и самого Данте слава не великого поэта, а великого ученого: не Гомера, новых песен творца, а Улисса, открывателя новых земель или «никем, никогда еще не испытанных истин», по чудному слову Данте[3]; слава не тех, кто чувствует и говорит, а тех, кто знает и делает. Так редка эта слава и так необычайна, что он и сейчас, через семь веков, все еще ее не достиг.

Кажется, Данте был несправедлив к отцу. Сделаться великим ученым он не мог бы, если бы для этого не было заложено в нем основания с раннего детства и юности. Школьное учение в те дни, когда, по свидетельству Боккачио, «науки были совершенно покинуты», стоило немалых денег[4]. Если же верно свидетельство Бруни, что Данте «с раннего детства был воспитан в свободных науках»[5], то это могло быть лишь потому, что сер Алигьеро, хотя и «меняла-торгаш», подобно всем флорентинцам, – денег не жалел на учение сына: значит, любил его и хотел ему добра. И если мы, чужие люди, через семь веков, можем ему за это многое простить, то сын – тем более. Но Данте отцу не простил: он вообще не умел или не знал, что умеет прощать.

Первыми книгами, в слабых, детских руках его, были, вероятно, тяжеловесные рукописные учебники Доната и Присциллиана: «Основание искусства грамматики»[6], а первыми учителями – иноки францисканской обители Санта-Кроче, находившейся в ближайшем соседстве с домами Алигьери: здесь была одна из двух главных во Флоренции детских школ;[7] другая была в доминиканской обители Санта-Мария-Новелла.

В школе Санта-Кроче, вероятно, и посвящен был отрок Данте в премудрость семи наук схоластической «Тройни и Четверни», Тривии и Квадривии: в ту входили грамматика, риторика и диалектика; в эту – арифметика, геометрия, музыка и астрономия[8]. Большая часть этих наук была лишь варварским полуневежеством, кладбищем древнеэллинских знаний, высохшим колодцем, камнем вместо хлеба. Хлеб нашел Данте не во многих мертвых книгах, а в единственной живой. «Будучи отроком, он уже влюбился в Священное Писание», – вспоминает один из надежнейших, потому что ближайших ко времени Данте, истолкователей «Комедии»[9]. Так же, как в маленькую девочку Биче, «влюбился» он и в великую, древнюю Книгу. «Данте, говорят, был в ранней юности послушником в братстве св. Франциска, но потом оставил его», – вспоминает другой, позднейший, истолкователь[10]. Раньше семнадцати лет Данте, по уставу Братства, не мог принять пострига; но думать о том мог, конечно, и раньше.

Я был тогда веревкой опоясан
И думал ею изловить Пантеру
С пятнистой шкурой, —

(сладострастную Похоть), – вспоминает сам Данте, в Аду, может быть, о той веревке Нищих Братьев, которую носил, или о которой мечтал, с ранней юности[11].

Судя по тому, что впоследствии он должен был всему переучиваться, в школе он учился плохо. Кажется, главная его наука была в вещих снах наяву, в «ясновидениях». – «Многое я уже тогда видел как бы во сне»[12]. – «Данте... *видел все*», – по чудному слову Фр. Саккетти[13]. Истинная наука есть «не узнавание, *а воспоминание, anamnusis*», – это слово Платона лучше всех людей, кроме святых, понял бы Данте; *узнает – вспоминает* он, только в самую глухую ночь, когда

Густеет мрак, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас давит сушу;

Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах[14], —

душу еще не рожденной, но уже зачатой музы Данте. – «Я уже тогда сам научился говорить стихами», – вспомнит он об этих пророческих снах. Учится в них говорить «сладкие речи любви»[15—16].

Первый светский учитель Данте, не в школе, а в жизни, – самый ранний гуманист, Брунетто Латини, консул в цехе судей и нотариев, государственный канцлер Флорентийской Коммуны, сначала посланник, а потом один из шести верховных сановников, Приоров; «великий философ и оратор», по мнению тогдашних людей, а по нашему, – ничтожный сочинитель двух огромных и скучнейших «Сокровищ», Tesoro – одного на французском языке, другого – на итальянском, – в которых солома хочет казаться золотом[17—18]. «Он первый очистил наших флорентийцев от коры невежества и научил их хорошо говорить и управлять Республикой, по законам политики», – славит его летописец тех дней Джиованни Виллани, только с одной оговоркой: «Слишком был он мирским человеком»[19].

Немножечко мирскими
Прослыли мы в те дни, —

признается и сам Брунетто[20]. Что это значит, объяснит он, покаявшись на старости лет, когда и черт становится монахом:

И в Бога я не верил,
И церкви я не чтил,
Словами и делами
Я оскорблял ее[21].

Больше всего оскорблял тем пороком, о котором скажет Ариосто:

Мало есть ученых, в наши дни, без этого порока,
за который был вынужден Бог
опустошить Содом и Гоморру[22].

Слишком усердно подражал Брунетто великим образцам языческой древности; слишком нравились ему отроки с девической прелестью лиц, каких много было тогда во Флоренции, каким был и Данте, судя по Джиоттову образу над алтарем в часовне Барджелло (лет в пятнадцать, когда, вероятно, зазнал Данте сера Брунетто, эта девическая, почти ангельская, прелесть Дантова лица могла быть еще пленительней, чем в позднейшие годы, когда писана с него икона-портрет Джиотто).

«Вот связался черт с младенцем!» – посмеивались, должно быть, знавшие вкусы Брунетто над удивительной дружбой великого сановника с маленьким школьником. Думал ли старый греховодник сделать Данте для себя тем же, чем, в Платоновом «Пире», хочет быть Алкивиад для Сократа? Если и думал, то мальчик этого не знал; не узнает, или не захочет знать, и взрослый человек. Но о смертном грехе своего любимого учителя Данте знал так несомненно, что ни искреннее, кажется, хотя и позднее, раскаяние грешника, ни сыновнепочтительная любовь к учителю не помешают ему осудить его на седьмой круг ада, где он его и увидит в сонме вечно бегающих, под огненно-серным дождем, содомитов[23].

Когда ко мне он руки протянул,

Я обожженное лицо его увидел, —

жалкое, коричнево-красное, маленькое, черепку обожженному подобное, личико увидел, и тотчас же узнал:

О, вы ли это, сер Брунетто, здесь?[24]

В этом удивленном возгласе слышится только бесконечная жалость, а за нею, может быть, и странная легкость, с какой ученик прощает смертный грех учителю или даже совсем о нем забывает.

Запечатлен в душе моей доныне
Ваш дорогой, любезный, отчий лик.
Тому меня вы первый научили,
Как человек становится бессмертным[25].

Два бессмертья: одно – на небе, то, которому учат иноки Санта-Кроче; другое – на земле, то, которому учит сер Брунетто, «мирской человек». Надо будет отроку Данте сделать выбор между этими двумя бессмертьями, – двумя путями, – вслед за св. Франциском Ассизским, или за «божественным Виргилием».

Если же он выбора не сделает, то, прежде, чем это скажет, уже почувствует: «есть в душе моей *разделение*», – между двумя Близнецами, двумя Двойниками, – Знанием и Верой[26].

Но это «разделение души» на две половины, земную и небесную, – только внизу, а наверху – соединяющий небо и землю чистейший образ Ее, Беатриче, надо всей его жизнью, ровным светом горящий, как тихое пламя – вечная тихая молния Трех.

«С этого дня (первой с нею встречи)... бог Любви воцарился в душе моей так... что я вынужден был исполнять все его желания. Много раз повелевал он мне увидеть этого юнейшего Ангела. Вот почему, в детстве, я часто искал ее увидеть, и видел»[27].

Может быть, не только видел, но и говорил с нею, в той длинной, черной тени на белую площадь от башни дэлла Кастанья, утренним солнцем, откинутой. «С раннего детства ты был уж Ее», – напоминает ему бог Любви, может быть, об этих детских свиданьях[28]. О них, может быть, вспомнит и сам Данте:

Не вышел я из отроческих лет,
Когда уже Ее нездешней силой
Был поражен[29].

И уж наверное, вспомнит о них Беатриче в страшном суде над ним, павшим так низко, что ничем нельзя будет спасти его, кроме чуда:

Недолго я могла очарованьем
Невинного лица и детских глаз
Вести его по верному пути[30].

Знал ли двенадцатилетний мальчик, Данте, что с ним делают, или что с ним делается, когда 9 февраля 1277 года (это первая из немногих точек в жизни его, освещенная полным светом истории) заключен был у нотариуса письменный договор между сером Алигьеро и его ближайшим соседом, Манетто Донати, о будущем браке Данте с дочерью Манетто,

Джеммой?[31] Данте знал ее давно, может быть, раньше, чем Биче Портинари, потому что они жили почти под одною кровлей, в двух соседних домах, разделенных только небольшим двором, виделись постоянно и, может быть, играли или беседовали на той же солнечно-белой площади, в той же черной тени от башни, где встречался он и с Биче. Но в день помолвки, глядя на эту знакомую, может быть, миловидную, но почему-то вдруг ему опостылевшую, чужую, скучную девочку, не вспомнил ли он ту, другую, единственно ему родную и желанную?

Очень вероятно, что сер Алигьеро, замышляя этот брак, по обычным, в те дни, семейно-политическим и денежным расчетам, желал добра сыну: думал, что ему полезно будет войти в род Донати, хотя и не более древний и знатный, чем род Алигьери, но ничем не запятнанный, как этот, – увы, по его же собственной, сера Алигьеро, вине; думал, может быть, что и тщательно, в брачном условии, оговоренное невестино приданое, хотя и скаредное, – 200 малых золотых флоринов, – тоже на улице не валяется и может пригодиться ему, сыну полуразоренного менялы.

Так совершились две помолвки Данте: первая, с Биче Портинари, земная и небесная вместе, и вторая, с Джеммой Донати, – только земная. «Сладкий и страшный бог Любви» присутствовал на той, а на этой – «маленький бесенок, с насморком», – и тогда уже мальчику Данте, может быть, по отцу, знакомый, ненавистный «меняло-торгашеский» дух.

Две помолвки – два брака; но только один из них действителен. Какой же? В церкви ли венчанный? Надо будет Данте сделать выбор между этими двумя браками, а если он его не сделает, то снова почувствует, прежде чем скажет: «Есть в душе моей разделение».

IV
ПОЖИРАЕМОЕ СЕРДЦЕ

В 1283 году, или очень близко к этому году, произошло в жизни восемнадцатилетнего юноши Данте три великих события: два роковых, одно – роковое и благодатное вместе. Первое – смерть отца. Глядя в мертвое лицо его, понял ли Данте свою вину перед ним – презрение, молчание о тех, кто «никогда не жил»:

Не будем говорить о них: взглянув, пройди![1]

Понял ли вину и его, этого несчастного менялы, ничтожного потомка великих предков, единственную перед сыном, – его рождение? Понял ли, простил ли вину эту, или, не поняв до конца, молча взглянул и прошел; только ниже еще опустились, может быть, горько, точно с бесконечною брезгливостью к миру и людям, опущенные углы рта?

Мимо второго события, в том же году, он уже не мог бы пройти молча: Биче Портинари вышла, или, вернее, выдана была замуж (девушки тогда не выходили, а выдавались замуж) за мессера Симоне де Барди, из вельможного рода богатейших флорентийских менял, чьи торговые дома рассеяны были по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, а может быть, и до Великого Могола в полусказочной Тартарии[2]. Судя по тому, что мессер Симоне женился на Биче, овдовев от первой жены, и что вторая жена его, семнадцатилетняя девочка, оказалась мачехой скверного мальчишки-пасынка, из которого вышел потом большой негодяй, муж монны Биче был человеком уже немолодым[3].

«Многие почитали отца ее тем, чем он в действительности был, – человеком добрейшим», – скажет Данте об отце Беатриче[4]. За год до смерти завещает он большую часть своего огромного богатства, нажитого тоже в меняльном деле (участь юного Данте жить среди менял), не пяти сыновьям и шести дочерям, а великолепной, им построенной, первой во Флоренции, больнице для бедных, при церкви Санта-Мария-Нова[5]. Там он будет и

похоронен, вместе со старой любимой служанкой, монной Тэссой (Tessa), посвятившей себя уходу за больными, – может быть, Беатричиной няней. Простое, сильное и доброе лицо ее можно видеть в изваянии на уцелевшем доныне надгробном памятнике[6].

Очень вероятно, что сер Фолько Портинари, выдавая дочь за сера Симоне де Барди, так же хотел ей добра, как отец Данте – сыну, совершая помолвку его с Джеммой Донати. Может быть, брак Беатриче задуман был по таким же семейно-политическим и денежным расчетам, как и брак Данте: знатность к знатности, деньги к деньгам. Очень вероятно, что выдаваемая замуж, семнадцатилетняя Биче знала не многим больше, что с нею делают, или что с ней делается, чем помолвленный двенадцатилетний Данте. Но теперь он уже это знал и за себя, и за нее. Только что покинула она дом Портинари, соседний с домом Алигьери, для великолепного дворца-крепости де Барди, с толстыми, точно тюремными, стенами и зубчатыми башнями, в далеком квартале за Арно, у моста Рубаконте, – страшно опустело для Данте старое гнездо Алигьери, да и вся Флоренция, – весь мир[7]. Сколько бы ни затыкал ушей, не мог он не слышать нового ее, чужого имени: «монна Биче де Барди»; сколько бы ни закрывал глаз, не мог не видеть, как входит невеста в брачный покой жениха; и как бы ни хотел умереть или сойти с ума, чтобы не думать, все-таки думал о том, что было с нею, когда она туда вошла.

Третье событие, в том же году, – роковое и благодатное вместе.

«Ровно через девять лет... после первого явления той благороднейшей, gentilissima... она явилась мне снова, в одежде белейшего цвета, между двумя благородными дамами старшего возраста... и, проходя по улице, обратила глаза свои в ту сторону, где я стоял, в великом страхе; и с той несказанною милостью, за которую ныне чтут ее в мире ином, поклонилась мне так, что я, казалось, достиг предела блаженства... То было... в час дня девятый... И в первый раз ее слова коснулись слуха моего так сладостно, что, вне себя, я бежал от людей в уединенную келью мою и начал думать об этой Любезнейшей. И, в мыслях этих, нашел на меня тишайший сон, и посетило меня чудесное видение: как бы огнецветное облако и, внутри его, образ Владыки с лицом для меня ужасным; но сам в себе казался он радостным... И понял я из многого, что он говорил, только одно: „Я – твой владыка. Ego dominus tuus“. Девушка спала на руках его, вся обнаженная, только в прозрачной ткани цвета крови... И в одной руке держал он что-то, горевшее пламенем, и сказал мне так: „Vide cor tuum. Вот сердце твое!“ И, подождав немного, разбудил спящую... и принудил ее вкусить от того, что пламенело в руке его. И она вкушала в сомнении, dubitosamente. Вскоре же после того радость его обратилась в плач... и, подняв на руках девушку, вознесся он с нею на небо. И, почувствовав такую скорбь, что легкий сон мой вынести ее не мог... я проснулся. И тотчас же... вспомнил, что час, когда явилось мне видение... был первый из девяти последних ночных часов»[8].

Старую народную сказку о сердце любовника, пожираемом возлюбленной, повторяют многие провансальские певцы-трубадуры тех дней. Данте, хорошо их знавший, мог узнать от них и эту сказку. Но по тому, как он ее рассказывает, чувствуется, что это для него больше, чем сказка. Может быть, он так долго и пристально думал о ней, что сказочное сделалось для него действительным, в страшном и чудном видении, вещем сне наяву. Чудно и страшно то, что Данте видит, в первый и последний раз, в этом сне, наготу Беатриче: «девушка спала на руках бога Любви, *вся обнаженная*». Любящий видит наготу возлюбленной только в том соединении любви, когда «они уже не двое, но одна плоть» (Мт. 19, 6). Видели наготу Беатриче только два человека: Симон де Барди и Данте Алигьери, муж и возлюбленный; тот – наяву, этот – во сне. Но что действительнее – явь того или сон этого, – люди не знают; знает только «сладкий и страшный бог Любви».

Что значит для Данте нагота Беатриче, мог бы понять Ботичелли. Лучше ослепнуть, чем грешными глазами увидеть наготу чистейшую Той, что смутилась от слова Ангела:

«Радуйся, Благодатная»; лучше сойти с ума, чем помыслить об этой наготе, – знает Ботичелли так же хорошо, как Данте. Но прежде чем сойти с ума и едва не сжечь свою Новорожденную Венеру на костре Савонароллы, он все-таки увидел в ее земной наготе – неземную. Слишком одинаковы детски-испуганные и заплаканные очи только что родившейся Венеры и только что родившей Богоматери, чтобы не узнать одну в двух: плачет, страшится та, может быть, оттого, что родилась, а эта, – оттого, что родила. Та, в одежде, – эта; эта, обнаженная, – та.

Чудно и страшно, что Данте видит наготу Беатриче; но еще страшнее, чудеснее, что бог Любви принуждает ее пожирать сердце возлюбленного; что чистейшая любовь этой «Женщины-Ангела», donna angelicata, подобна сладострастию паучихи, пожирающей самца своего.

Что это значит, Данте не может понять и мучается так, что едва не сходит с ума.

Ты злым недугом одержим и бредишь;
Ступай к врачу, —

остерегает его, узнав об этом, тезка его, Данте да Майяно, в грубых, но неглупых, стихах, потому что и доныне, можно сказать, единственный нелицемерный суд мира сего над любовью Данте к Беатриче – этот: «Ты злым недугом одержим, ступай к врачу»[9].

Близость «злого недуга» и сам Данте, кажется, чувствует, в эти дни. «После моего видения... я так похудел и ослабел, что друзьям было тяжело смотреть на меня»[10]. – «И слышал я, как многие говорили обо мне: видите, как этою Дамою разрушено тело его!»[11]

Лучше всего видно по этому, что вещий сон о пожираемом сердце для Данте – не старая, милая сказка, а страшная новая действительность – дело жизни и смерти.

Но очень вероятно, что были и такие минуты, когда «злой недуг» затихал, и Данте смешивал действительность с вымыслом, «сладкие речи» – с горьким делом любви; играл, или хотел играть, как школьник, с тем, с чем не должно играть. Может быть, в одну из таких минут, и решился он открыть свое видение многим, прославленным в те дни певцам-трубадурам. «Так как я сам тогда уже научился говорить стихами, то решил написать сонет об этом видении, посвященный всем верным слугам (бога) Любви». С детски-простодушным доверием, по тогдашнему любовно-школьному обычаю, разослал он им этот сонет, которым и начинается вся его поэзия:

Всякой любящей душе и благородному сердцу,
всем, кто прочтет эти слова мои
и ответит, что о них думает, —
Привет, в их Владыке, чье имя – Любовь![12]

Кажется, впрочем, и здесь Данте не только играет, но делает, или хочет сделать что-то нужное для себя и для других, – ищет у людей помощи и хочет им помочь, в общем с ними, «злом недуге» любви; может быть, открывает он людям, невольно, эту заповеднейшую тайну любви своей, уже предчувствуя, что она имеет какой-то новый, людям неведомый, роковой или благодатный смысл не только для него одного, но и для всего человечества. Как бы то ни было, очень знаменательно, что, открывая тайну свою, Данте, хотя и признается, что «внезапное явление бога Любви было для него ужасно», все-таки утаивает самое ужасное или блаженное в этом явлении – наготу Беатриче[13].

«Многие по-разному ответили мне на этот сонет... Но истинный смысл того сна не был тогда понят никем; ныне же он ясен и для самых простых людей». Нет, и ныне все еще темен:

вот уже семь веков люди ломают голову над этой загадкой Данте – вечной загадкой любви; и сейчас она темнее, чем когда-либо.

«Был среди ответивших и тот, кого я называю первым из друзей моих... И то, что он ответил мне, было как бы началом нашей дружбы»[14]. Этот первый друг его, Гвидо Кавальканти – лучший флорентийский поэт тех дней, – «прекрасный юноша, благородный рыцарь, любезный и отважный, но гордый и нелюдимый, весь погруженный в науку», – вспоминает о нем летописец, Дино Кампаньи. – «Может быть, никого, во Флоренции, не было тогда ему равного», – вспомнит о нем и веселый рассказчик, Франко Саккетти[15].

Кажется, Данте заразился от Кавальканти, а может быть, и от других, усердно им, в те дни, изучаемых провансальских любовных певцов-трубадуров, болезнью века – ученым школярством, схоластикой любви[16]. Юные дамы на провансальских «Судах Любви», corte d'amore, философствуют с ученой «любезностью», ссылаясь на Аристотеля, Платона, Аверрона, Ависенну и Боэция, не хуже старых ученых схоластиков[17].

«Чтобы философствовать, нужно любить», – скажет Данте[18]; но мог бы сказать и наоборот: «Чтобы любить, надо философствовать»; так он и скажет действительно: «Надо, чтобы философские доводы внушили мне любовь»[19].

Истинная любовь не плачет, не смеется, —

учит трубадур, Гвидо Орланди, тоже ученый схоластик любви. Мог бы, или хотел бы с этим согласиться и Данте[20]. Все, в «Новой жизни», как будто философски доказано, измышлено, измерено, исчислено; все правильно, как в геометрии. Сам бог или демон Любви – Геометр; вместо факела, в руке его, – циркуль. – «Юношу увидел я... в белых одеждах, сидевшего рядом со мной, на моей постели, и смотревшего на меня задумчиво... И он сказал мне: „Я – как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности, а ты – не так". И я спросил его: „Зачем ты говоришь... так непонятно?"[21] Или, может быть, напротив, – слишком понятно, отвлеченно-холодно.

Но все это – *как будто*, а на самом деле вовсе не так. Холодно – извне, а внутри – огненно. Меряет божественный Геометр круг любви – круг вечности – циркулем, а сам «горько плачет»[22]. Плачущая «геометрия» любви, – в нежности своей почти страшная, такая же вся трепетно-живая, страстная и заплаканная, как Августинова «Исповедь»[23]. Более точной записи того, что говорит Любовь сердцу человеческому, не было никогда и, вероятно, не будет.

...Я один из тех,
Кто слушает, что говорит в их сердце
Любовь, и пишет то, что слышит[24].

Пальцы у него в чернилах, как у школяра-схоластика, но когда пишут в стихах «стройными длинными и тонкими», на него самого похожими буквами, «сладкие речи любви», то дрожат от волнения[25]. Сухо шелестят страницы пыльных, старых книг, но подымает их вещий из открытого окна, душисто-влажный, как поцелуй любви, весенний ветер. Эта юная утренняя, клейкими листочками пахнущая, «схоластика любви» – совсем не такая, какой будет потом и какой она кажется нам. Дышит сквозь нее вся прелесть и нежность, все благоухание ранней флорентийской весны, Primavera, или розово-серая туманность, жемчужность летнего утра, – та же грусть о недолговечности всех радостей земных, как в детски-испуганных, заплаканных глазах Весны Ботичелли.

Очень простой и печальный смысл «Новой жизни» можно бы выразить двумя словами: нельзя любить; здесь, на земле, в теле земном, человеку любить нельзя; нет любви, – есть

похоть, в браке или в блуде, а то, что люди называют «любовью», – только напрасное ожидание, неутолимая память о том, что где-то, когда-то была любовь, и робкая надежда, что будет снова. Нет любви на земле, – есть только тень ее, но такая прекрасная, что кто ее однажды увидел, готов отдать за нее весь мир. Вот почему, в книге этой, – такая грусть и такое блаженство.

Вот как вспоминает летописец тех дней о флорентийских празднествах «Владыки Любви», signor Amore, в том же году, когда явился он впервые восемнадцатилетнему отроку Данте. «В 1283 году от Рождества Христа, в городе Флоренции, бывшем тогда в великом спокойствии, мире и благоденствии, благодаря торговле своей и ремеслам... в месяце июне, в Иванов день... многие благородные дамы и рыцари, все в белых одеждах... шествуя по улицам, с трубами и многими другими музыкальными орудиями... чествовали, в играх, веселья, плясках и празднествах, того, чье имя: Любовь. И продолжалось то празднество около двух месяцев, и было благороднейшим и знаменитейшим из всех, какие бывали когда-либо во Флоренции. Прибыли же на него и из чужих земель многие благородные люди и игрецы-скоморохи, и приняты были с великим почетом и ласкою»[26].

Вся Флоренция, в эти дни, – город влюбленных юношей и девушек, мальчиков и девочек, таких же, как Данте и Биче.

Чтобы понять, что тогда совершалось, надо вспомнить: скоро зашевелится вся земля окрестных долин и холмов от восстающих из нее мертвецов древних богов или демонов. Первым вышел бог Любви, «Владыка с ужасным лицом», и явился Данте, первому[27]. Самое ужасное в этом лице – смешение бога с демоном и сходство его то с Беатриче, то с самим Данте: это как бы чередующийся двойник обоих.

Имя ее: «Любовь», – так она похожа на меня, – скажет о Беатриче сам бог Любви[28].

«Пира» Платона Данте, вероятно, не читал, но если бы прочел, то, может быть, узнал бы самое страшное и неизреченное имя «Владыки» своего, бога или демона любви: «Андрогин», «Муже-женщина» «Данте-Беатриче». Два в Одном; это и значит: «всех чудес начало – Три», соединение Двух в Третьем.

Кажется, лучше всего увидел и понял лицо Данте, в «Новой жизни», – Джиотто, в портрете-иконе над алтарем часовни Барджелло: полузакрытые, как у человека засыпающего, или только что проснувшегося, глаза; в призрачно-прозрачном, отрочески-девичьем лице – неисцелимая грусть и покорная жертвенность, как у любящего, чье сердце пожираемо возлюбленной; губы бескровны, точно всю кровь из жил высосал жадный вампир, – «сладкий и страшный» бог-демон Любви.

V
ЕРЕСЬ ЛЮБВИ

«Я полагаю, что никогда никакой Беатриче... не было, а было такое же баснословное существо, как Пандора, осыпанная всеми дарами богов, по измышлению поэтов» – это говорит поздний, XV века, и плохо осведомленный, только рабски повторяющий Боккачио и Леонардо Бруни, жизнеописатель Данте, Джиованни Марио Филельфо[1]. Первый усомнился он в существовании Беатриче. В XIX веке сомнение это было жадно подхвачено и, хотя потом рассеяно множеством найденных свидетельств об историческом бытии монны Биче Портинари, так что вопрос: была ли Беатриче? – почти столь же нелеп, как вопрос: был ли Данте? – сомнение все же осталось и, вероятно, навсегда останется, потому что самый вопрос: что такое любовь Данте к Беатриче, история или мистерия? – относится к религиозному, сверхисторическому порядку бытия[2].

Эта часть жизни Данте освещена, может быть, самым ярким, но как бы не нашим, светом невидимых для нас, инфракрасных или ультрафиолетовых, лучей. В этой любви у

всего – запах, вкус, цвет, звук, осязаемость недействительного, нездешнего, чудесного, но не более ли действительного, чем все, что нам кажется таким, – в этом весь вопрос. Но что он не существует вовсе для большинства людей, видно из того, что ближайший ко времени Данте жизнеописатель его, Леонардо Бруни, уже ничего не понимает в этой любви: «Лучше бы упомянул Боккачио о доблести, с какой сражался Данте в этом бою (под Кампальдино), чем о любви девятилетнего мальчика и о тому подобных *пустяках*»[3]. Это «пустяки»; этого не было и не могло быть, потому что это слишком похоже на чудо, а чудес не бывает. Ну, а если все-таки *было*? Здесь, хотя и в бесконечно-низшем порядке, тот же вопрос, как об историческом бытии Христа по евангельским свидетельствам: было это или не было? история или мистерия?

Любовь Данте к Беатриче, в самом деле, одно из чудес всемирной истории, одна из точек ее прикосновения к тому, что над нею, – продолжение тех несомненнейших, хотя и невероятнейших, чудес, которые совершились в жизни, смерти и воскресении Христа: если не было того, нет и этого; а если было то, есть и это.

Может быть, сам Данте отчасти виноват в том, что люди усомнились, была ли Беатриче. «Так как подобные чувства, в столь юном возрасте, могут казаться *баснословными*, то я умолчу о них вовсе». – «Я боюсь, не слишком ли много я уже сказал» (о Беатриче)[4].

Данте говорит о ней так, что остается неизвестным главное: *есть ли она*? И так, как будто вся она – только для него, а сама по себе вовсе не существует; помнит он и думает только о том, что она для него и что он для нее, а что она сама для себя, – об этом не думает. Слишком торопится сделать из земной женщины «Ангела», принести земную в жертву небесной, не спрашивая, хочет ли она этого сама, и забывая, что человеку сделаться Ангелом значит умереть; а желать ему этого значит желать ему смерти.

Кажется иногда, что не случайно, а нарочно все в «Новой жизни», как в музыке: внешнего нет ничего, есть только внутреннее; все неопределенно, туманно, призрачно, как в серебристой жемчужности, тающих в солнечной мгле, Тосканских гор и долин. Неизвестно, что, где и когда происходит; даже Флоренция ни разу во всей книге не названа по имени; вместо Флоренции, – «тот город, где обитала Лучезарная Дама души моей»; даже имя Беатриче сомнительно: «та, которую называли „Беатриче“ многие, не умевшие назвать ее иначе»[5].

Это тем удивительнее, что Данте, как видно по «Комедии», и даже по некоторым нечаянным подробностям в самой «Новой жизни», любит деловую, иногда более научную, чем художественную, точность образов, почти геометрически-сухую резкость очертаний.

Кажется иногда, что он говорит о любви своей так, как будто скрывает в ней что-то от других, а может быть, и от себя самого; чего-то в ней боится или стыдится; прячет какие-то улики, заметает какие-то следы. «Я боюсь, что слишком много сказал (о ней)...» Кажется, что прав Боккачио, когда вспоминает: «В более зрелом возрасте Данте очень стыдился того, что написал эту книгу» («Новую жизнь»)[6]. Чтобы Данте «стыдился» любви своей к Беатриче, – невероятно и похоже на клевету; но еще, пожалуй, невероятнее, что Боккачио взвел на Данте такую клевету; и тем невероятнее, что сам Данте признается: «В этой книге (в „Пире“) я хочу быть более мужественным, чем в „Новой жизни“[7]. – „Более мужественным“ значит: „менее малодушным“, – не таким, чтобы этого надо было „стыдиться“ потом. „Я боюсь, чтобы эта поработившая меня страсть не показалась людям слишком низкою“, – скажет он о второй любви своей, для которой изменит первой, – к Беатриче, но кажется, он мог бы, или хотел, в иные минуты, сказать то же и о первой любви.

О, сколько раз к тебе я приходил,
Но видел я тебя в столь низких *мыслях,*
Что твоего высокого ума
И сил потерянных мне было жалко...

И столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей, —

скажет ему «первый друг» его, Гвидо Кавальканти, именно в эти дни и, кажется, об этих именно днях любви его к Беатриче[8].

В чем же действительная, или хотя бы только возможная, «низость» этой как будто высочайшей и святейшей любви? В невольной или вольной, возможной или действительной лжи, – тем более грешной и низкой, чем выше и святее любовь. «Всей любви начало – в ее глазах... а конец – в устах. Но чтобы всякую *порочную мысль*удалить, я говорю... что всех моих желаний конец – в исходящем из уст ее приветствии[9].

Чтобы человек, молодой и здоровый, влюбленный в женщину так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только издали, на улице, а когда она к нему подходит, – убегает, боясь лишиться чувств, – чтобы такой влюбленный, в течение семи-восьми лет, ничего от любимой не пожелал, кроме мимолетного приветствия, – этому люди никогда не поверят; верит ли сам Данте? Если верит, то тем хуже для него: вечный воздыхатель Беатриче так же смешон, как вечный воздыхатель Дульцинеи; или еще смешнее, потому что Данте – не Дон Кихот.

...Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит (Мт. 19, 12).

Помнит ли Данте это страшное слово, и если помнит, – почему не уйдет в монастырь, не оскопит духом плоть свою?

Что ему сказала Беатриче, в той мгновенной, уличной встрече, когда «слова ее коснулись впервые слуха его так сладостно», что он был «вне себя»? Может быть, всего три слова: «доброго дня, Данте». Но он успел спросить ее молча, глазами: «Можно любить?» – и прочесть в ее глазах ответ: «Можно».

Монна Биче, жена сера Симоне де Барди, позволяла ему, Данте, любить себя, как он любил ее в девушках. И не только она, – позволял и муж, зная, что эта любовь – без последствий, как у детей и скопцов.

Но сколько бы Данте ни делал Беатриче «Ангелом», он был уже и тогда слишком большим правдолюбцем, или, как мы говорим, «реалистом», чтобы не знать, что не к Ангелу в спальню входит муж, а к женщине, и чтобы не думать о том, глазами не видеть того, что это значит для нее и для него.

Очень вероятно, что бывали, в любви его к Беатриче, такие минуты, – нам неизвестные, скрытые, но, может быть, самые важные, решающие все – когда он соглашался с Гвидо Кавальканти, что жизнь его «презренна». Видя, как вельможный «меняла», Симоне де Барди, с преувеличенной любезностью кланяется ему, бедному школяру-стихоплету, он сжимал, у пояса-веревки св. Франциска, рукоять действительного, или воображаемого, ножа и чувствовал, с каким наслаждением, вонзив его в сердце врага, перевернул бы в нем трижды. Но в то же время знал, что никогда этого не сделает, и вовсе не потому, что, как св. Франциск, врагу прощает. Очень вероятно, что в такие минуты он соглашался и с Форезе Донати:

...Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же трус презреннейший, как он.

Вот на какие раны сердца целящим бальзамом была для него вышедшая, в 1280 году, книга «О любви», De amore, Андрея Капеллана, духовника владетельной графини Марии Шампанской, чей двор, убежище всех бродячих певцов, труверов и трубадуров, сделался тогда великой «Судебной Палатой Любви», Cour d'Amour[10].

Если сам Данте и не читал книги Капеллана, то не мог хорошо не знать о ней от первого друга своего и учителя, Гвидо Кавальканти, а также от других флорентийских поэтов, творцов «нового сладкого слога», doice stil nuovo, – ее усердных читателей.

Смехом казнится брачная любовь на суде графини Марии. «Может ли быть истинная любовь между супругами?» – спрашивает Андрей Капеллан, священник, совершавший, конечно, много раз таинство брака, и отвечает: «Нет, не может»[11]. – «Брачная любовь и та, что соединяет истинных любовников, совершенно различны, потому что исходят из различнейших чувств»[12]. Истинная любовь, самая блаженная и огненная, – любовь издалека, amor da lonh»[13]. Это и значит: лучше, вопреки Павлу, «разжигаться похотью», чем вступать в брак, чтобы утолить похоть, или утишить ее, потому что никаким плотским соединением похоть не утолима, как жажда – соленой водой. «Брак не может быть законной отговоркой от любви»[14]. Здесь все опрокинуто так, что блуд становится браком, а брак – блудом. Эта новая «неземная любовь» оказывается сплошным прелюбодеянием, что не мешает законодателям ее считать себя, по слову Иоахима Флорского, пророка «Вечного Евангелия», – теми людьми, «коих пришествия ждет мир»[15].

Знал ли св. Доминик, что делает, когда, объявляя крестовый поход на еретиков альбигойцев, зажег первые костры Святейшей Инквизиции, на юге Франции, именно там, где провансальские певцы, труверы и трубадуры, полурыцари, полусвященники, в Судах Любви, возвещали миру новое «веселое знание», gaya sienzia, «любовь, радость и молодость», amors, joi e joven?[16] В те именно дни, после десяти веков смерти, ожили вдруг, сначала на славянском Востоке, а потом и на всем европейском Западе, в катарах, патаринах, альбигойцах, вальдейцах и многих других еретиках, две опаснейшие ереси двух величайших ересиархов, Монтана и Манеса[17]. В Муже воплотилось Второе Лицо Троицы, Сын, а Третье Лицо, Дух, воплотится в Жене, или Деве, или в Муже-Жене, Отроке-Деве: так учит Монтан[18]. К этому воплощению путь – неземная любовь к Прекрасной Даме – к Той, которая, для Данте, есть «Девять – Трижды Три – чудо, чей корень... единая Троица»[19]. В образе человеческом – может быть, женском или девичьем, или муже-женском, отроко-девичьем, – является Дух в «Ланчелоте-Граале», книге, погубившей Франческу да Римини и, кажется, едва не погубившей Данте[20].

Мир, лежащий во зле, создан не добрым Богом, а злым, – учит Манес[21]. Воля доброго Бога есть конец злого мира, а бесконечное продолжение его есть воля дьявола, Противобога, чье главное оружие – плотская похоть, брак и деторождение. «Плодитесь и множитесь» – заповедано всей твари не Богом, а дьяволом. Им же создано то, чем отличается мужское тело от женского. Плотская похоть есть начало греха и смерти – Древо познания: Еву познав, умер Адам. Плотский брак – такой же смертный грех, как блуд, потому что оба равно замедляют, деторождением, возврат изгнанных, живущих на земле-чужбине, душ в небесное отечество. И даже брак – больший грех, чем блуд, потому что согрешающие в блуде иногда каются, а в браке – никогда[22].

Обе эти ереси, Монтана и Манеса, свили главное гнездо свое в провансальских, аквитанских и сицилийских «Судах Любви»[23]. Первыми должны были бы взойти на первый, св. Домиником зажженный, костер Святейшей Инквизиции новые ученики Монтана и Манеса, законодатели новой, безбрачной любви, труверы и трубадуры, – учителя Данте.

Может быть, св. Доминик и не так хорошо знал, что делает, как это казалось ему и будет казаться его продолжателям; может быть, он жег на кострах не тех, кого надо. Цветок новой любви, если бы и не сгорел в огне Св. Инквизиции, сам, вероятно, истлел бы: в нем,

от начала, заложено было семя тления, – вымысел, а не действительность, игра, а не дело, утонченность, упадочность; как бы запахами райских садов напоенный разврат.

Новая Любовь – «Новая жизнь начинается», incipit Vita Nova, уже не для игры, а для дела, только в книге Данте. Этот цветок не истлеет, и, может быть, прежде, чем сгореть, зажжет весь мир. Страшная и благодатная сила этой любви – в том, что в ней чистый любит чистую, девственную – девственник.

Два великих ересиарха – Монтан и Манес; но, может быть, есть и третий – Данте. Верный сын Римской Церкви, добрый католик, в вере, а в любви, – «еретик». Может быть, те, кто захотят, семь лет по смерти Данте, вырыть кости его, чтобы сжечь за «ересь» – что-то верно угадают и будут лучше знать, что делают, чем знал св. Доминик, и знают, в наши дни, те, кто хочет сделать Данте *только* правоверным католиком. Этой книгой, самому Данте непонятной (если бы он понял ее, как следует, то не «устыдился» бы ее), и, вот уже семь веков, никем не понятой, начинается, или мог бы начаться, великий религиозный мятеж, восстание в брачной любви; а говоря на неточном и недостаточном, потому что нерелигиозном, языке наших дней, великая Революция Пола.

VI
ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

Одна из важнейших заповедей в законодательстве новой любви – ненарушимая тайна, может быть, нужная для того, чтобы «людям, коих пришествия ждет мир», не взойти на костер: «Узнанная любовь не приносит чести любовнику, но омрачает ее дурными слухами, так что он жалеет, что не утаил ее от людей»[1]. – «Узнанная любовь недолговечна»[2].

Тайне истинной любви служит мнимая, к так называемой «Даме-Щиту». Donna Schermo[3]. Этой заповеди новой любви Данте был верен, как и всем остальным. Первую «Даму Щита» нашел он случайно, в церкви. «Ровно по середине и по прямой линии, что шла от Беатриче... и кончалась в моих глазах (дважды вспоминает он о „прямой линии“: точно циркулем измерил ее сам бог Любви, Геометр)... сидела... одна благородная дама с прекрасным лицом... И я очень утешен был тем, что тайна любви моей, в тот день, никем... не была узнана... и тотчас же решил сделать даму эту щитом моим от истины, schermo de la veritade... И скоро сделал так, что все подумали, будто знают тайну мою». Это значит: всех обманул, в том числе, вероятно, и «Даму Щита», – не думая, как эта игра в мнимую любовь может быть опасна для истинной.

С дамой этой скрывал он тайну любви своей, «в течение многих лет»[4]. Когда же она уехала из города (имени Флоренции он не называет и здесь, как нигде, скрывая улики, заметая следы), то он нашел себе вторую «Даму Щита», уже не случайную, а указанную ему, в видении, самим богом Любви[5]. Но с этою дело кончилось плохо: «Через немного времени я сделал ее таким щитом для себя, что слишком многие стали о том говорить больше, чем должно по законам любви, и это было мне тяжело»[6].

Судя по тому, что с первою Дамою он таился «несколько лет» (сколько именно, не говорит, – опять как будто скрывая улики); а «несколько» – значит не менее трех-четырех, – ему, в это время, года двадцать два, и он уже не такой невинный мальчик, каким был в восемнадцать. Судя же по дальнейшему, более, чем вероятно, что не от жены своей, Джеммы, узнал он, что такое земная любовь. Очень возможно, что этому научила его вторая «Дама Щита»: устав «любить издалека», он захотел попробовать того же вблизи и, играя с огнем, обжегся.

«Начали глаза мои слишком услаждаться видом ее, и часто я мучился этим, и это мне казалось *очень низким*», – скажет он об одной из других Дам, с которыми изменит или полуизменит Беатриче (их будет очень много), но, кажется, мог бы сказать и об этой, второй[7]. Как бы то ни было, «слишком многие стали говорить о том больше, чем должно... И по

причине молвы, бесчестившей меня, эта Благороднейшая, разрушительница всех пороков и царица добродетели, проходя однажды мимо меня, отказала мне в своем сладчайшем приветствии, в котором заключалось все мое блаженство»[8]. Молча, глазами, спросил он ее, должно быть, как всегда: «Можно любить?» – и она ответила, тоже молча, но не так, как всегда: «Нет, нельзя!» И точно земля под ним разверзлась, небо на него обрушилось, от этих двух слов, когда он понял, что они значат: «Если ты можешь любить двух, я не хочу быть одной из двух».

«...И почувствовал я такую скорбь, что, бежав от людей туда, где никто не мог меня видеть, начал горько плакать... Когда же плач немного затих, я вернулся домой, в комнату мою, где жалоб моих никто не слышал. И начал снова плакать, говоря: „Любовь, помоги!“ Плакал, рыдал, должно быть, теми ломающими тело и душу рыданиями, от которых остаются на ней неизгладимые следы, подобные рубцам на теле от ран или ожогов. Снова, как тогда, по смерти матери, чувствовал неземную обиду своего земного сиротства. Но теперь было хуже: как будто мать не умерла, а он ее убил.

«И плача, я уснул, как маленький прибитый мальчик... И увидел во сне юношу в белейших одеждах... сидевшего на моей постели... И мне казалось, что он смотрит на меня, о чем-то глубоко задумавшись... И потом, вздохнув, он сказал: „Сын мой, кончить пора наши притворства. Fili mi, tempus est ut praetermictantur similacra nostra“. – „Наши притворства“, значат: наша игра в ложь – в мнимую любовь. – „И мне показалось, что я знаю его, потому что он назвал меня так, как часто называл в сновидениях; и, вглядевшись в него, я увидел, что он горько плачет“.

Этот «юноша в белейших одеждах», таких же, как у Беатриче, «Владыка с ужасным лицом», Ангел, бог или демон Любви, тоже плачет, «как маленький прибитый мальчик».

И я спросил его: «О чем ты плачешь, господин?» И он в ответ: «Я – как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии от всех точек окружности; а ты – не так...» И я сказал: «Зачем ты говоришь так непонятно?» «Не спрашивай больше, чем должно», – ответил он. Тогда, заговорив об отказанном мне, приветствии... я спросил его о причине отказа, и он сказал мне так: «Беатриче наша любимая узнала, что ты *докучаешь* той даме (Щита); вот почему эта Благороднейшая, не любящая *докучных* людей, боясь, что ты будешь и ей *докучать*, не удостоила тебя приветствием»[9].

Здесь, в голосе Любви, Данте мог бы снова услышать голос «первого друга» своего, Гвидо Кавальканти:

Ты презирал толпу, в былые дни,
И от людей докучных бегал...
Но столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей и прихожу
К тебе тайком, чтоб ты меня не видел[10].

«Скука», noia, – главное слово и здесь, как там: «Взял ее Господь к себе потому, что *скучная* наша земля недостойна была такой красоты», – скажет Данте о Беатриче[11].

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли, —

скажет поэт, единственно-равный Данте по чувству земного сиротства, как неземной обиды, Лермонтов.

Самое противоположное праздничному веселью любви, вопреки всем ее мукам, – будничная *скука*, пошлость, «низость» жизни; в ней и обличает Данте «первый друг» его Кавальканти. С этим обличением согласился бы и бог Любви, и сама любимая: «дух *скуки*, овладевший твоей униженной душой»[12], хуже всякого зла, – бессилие сделать выбор между злом и добром, Богом и дьяволом, такое же, как у тех «малодушных», ignavi, кто никогда не жил, отвергнутых небом и адом, «милосердием и правосудьем Божиим презренных равно»; тех, кого Данте увидит в преддверии ада[13]. «Гордая душа» его презирает их, как никого; и вот, он сам – один из них.

Вскоре после того кто-то из друзей Данте привел его в дом, где многие благородные дамы собрались к новобрачной. «Ибо в том городе был обычай, чтобы невестины подруги служили ей, когда впервые садилась она за стол жениха». – «Зачем мы сюда пришли?» – спросил Данте. «Чтобы послужить этим дамам», – ответил друг. «Желая ему угодить, я решил, вместе с ним, служить этим дамам... Но только что я это решил, как почувствовал сильнейшую дрожь, внезапно начавшуюся в левой стороне груди и распространившуюся по всему телу моему... Я прислонился к стенной росписи, окружавшей всю комнату и, боясь, чтобы кто-нибудь не заметил, как я дрожу, поднял глаза и, взглянув на дам, увидел среди них... Беатриче... и едва не лишился чувств... Многие же дамы, заметив то, удивились и начали смеяться надо мной, вместе с той, Благороднейшей...Тогда мой друг, взяв меня за руку, вывел оттуда и спросил, что со мной?.. И, придя немного в себя, я ответил: „Я был уже одной ногою там, откуда нет возврата...“ И, оставив его, я вернулся (домой), в комнату слез, где, плача от стыда, говорил: „О, если бы Дама эта знала чувства мои, она не посмеялась бы надо мной, а пожалела бы меня!“[14]

Смехом вашим убивается жалость, —

скажет он ей самой[15].

В сердце его вошел этот смех, как тот нож, который хотел он, может быть, вонзить в сердце врага, Симоне де Барди.

Эта милосерднейшая, чей один только вид внушает людям «всех обид забвение» и прощение врагам, – слышит, как люди о нем говорят: «Вот что эта женщина сделала с ним!» – знает, что от любви к ней он стоит одной ногой в могиле, и все-таки смеется над ним[16]. Точно розовая нежная жемчужина – «цвет жемчуга в ее лице»[17], – превращается в грубый серый булыжник или в серый холодный туман. Что это значит? Может быть, лучше всего объясняет Беатриче, сестру свою небесную, сестра ее земная и подземная, Франческа да Римини.

VII
БЕАТРИЧЕ НЕИЗВЕСТНАЯ

В 1282 году Данте мог видеть на улицах Флоренции тогдашнего военачальника Флорентийской Коммуны, капитана дэль Пополо, юного, прекрасного и благородного рыцаря, Паоло Малатеста, одного из тех, о ком он скажет:

Любовь и сердце благородное – одно
И то же[1].

А года через три, узнав, что Паоло убит братом в объятиях жены его, Франчески да Римини, – Данте, если не подумал, то, может быть, смутно, как в вещем сне, почувствовал,

что и его любовь к чужой жене, монне Биче де Барди, могла бы иметь не бескровный, небесный, а такой же земной, кровавый конец[2].

Две судьбы – две любви: любовь Паоло к Франческе, земная, грешная, и любовь Данте к Беатриче, небесная, святая? Нет, две одинаково грешные, или одинаково для всех и для самих любящих непонятно-святые любви. Но если Данте этого умом еще не понимает, то сердцем уже чувствует: узнает вечную судьбу свою и Беатриче в судьбе Паоло и Франчески. Вот почему и говорит об этих двух преступных, или только несчастных, любовниках так, что заражает сочувствием к ним всех, кто когда-нибудь любил или будет любить.

Я сделаю, как тот, кто говорит
И плачет вместе[3].

Вот почему эта любовная повесть будет читаться сквозь слезы любви, пока в мире будет любовь.

С первого же взгляда обе жалобные тени узнают в Данте не судию, а брата по несчастью, и, может быть, тайного сообщника. Обе летят к нему,

Как две голубки, распростерши крылья,
Влекомые одним желанием, летят
Издалека к любимому гнезду...

Обе к нему кидаются так, как будто ищут у него покрова и защиты.

О, милая, родная нам душа!

Чем же родная, если не тою же, грешной или непонятно-святой, любовью? Обе как будто хотят сказать ему: «Люди и Бог осудили нас, но ты поймешь, потому что так же любишь, как мы!»

В этих двух «обиженных душах», anime offense[4], Данте узнает душу свою и ее, Беатриче:

И я, узнав их горькую обиду,
Склонил лицо мое к земле так низко,
Что мне сказал учитель: «Что с тобою?»[5]

Заповедь любви преступают – «прелюбодействуют» Паоло и Франческа; исполняют ли эту заповедь Данте и Беатриче? Грех Паоло и Франчески – против плоти, а грех Данте, может быть, больший, – против *Духа любви*, вечного «строителя мостов», по чудному слову Платона о боге Эросе, вечном соединителе неба с землей, духа с плотью. Данте рушит эти мосты, разъединяет дух и плоть, небо и землю. Что такое любовь, как не соединение разлученного, – вечное сочетание, свидание после вечной разлуки? «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мт. 19, 6). Данте разлучает: любит, или хочет любить, не духовно и телесно, а только духовно-бесплотно; не Беатриче небесную и земную, а только небесную.

Крайнее, метафизическое «преступление», «прелюбодеяние» Данте хуже, чем физическое, Паоло. Кажется, он и это если умом еще не понимает, то уже чувствует сердцем.

Любовь, что благородным сердцем рано
Овладевает, овладела им
К недолговечной прелести моей,

Так у меня похищенной жестоко,
Что мы и здесь, как видишь, неразлучны.

Кто это говорит, – Франческа, в аду, или Беатриче, на небе? Может быть, обе.

Любовь, что никому, кто любит, не прощает,
Там, на земле, мной овладела так,
Что мы и здесь, как видишь, неразлучны.

Смерть и ад победила их любовь, земная; победит ли небесная любовь Данте и Беатриче?

...О, сколько
Сладчайших мыслей и желаний страстных
Нас довели до рокового шага!..
От жалости к тебе, Франческа, плачу...

Может быть, не только от жалости, но и от *зависти*?

Поведай же: во дни блаженных вздохов,
Каким путем любовь вас привела
К сомнительным желаньям?

Их – привела; но не привела Данте и Беатриче. «Страшного владыки», бога Любви, он испугался, остановился и, как евангельский богатый юноша, «отошел с печалью».

И мне она сказала

(кто «она», – Франческа, в аду, или Беатриче, на небе?), —

...нет большей муки,
Чем вспоминать о прошлых днях блаженства,
Во дни печали...

Кажется, под бременем этой именно муки Данте и склоняет лицо к земле, как под бременем вины неискупимой.

...Читали мы однажды повесть
О Ланчелоте и его любви.
Одним мы были, и совсем без страха.
И много раз от книги подымали
Глаза, бледнея...
Но погубило нас одно мгновенье:
Когда прочли мы, как любовник страстный
Поцеловал желанную улыбку, —
То он, со мной навеки неразлучный,
Поцеловал уста мои, дрожа...
И в этот день мы больше не читали...
Меж тем как говорил один из духов,

Другой, внимая молча, плакал так,
Что я, от жалости, лишившись чувств,
Упал, как мертвый падает на землю[6].

Может быть, от жалости не только к ним, но и к себе, – от угрызенья и раскаянья: понял вдруг, как бесполезно погубил себя и ее. Так Орфей, выводя Евридику из ада, недолюбил, недоверил, усомнился, – оглянулся, и потерял любимую.

Здесь, в аду, с Данте происходит то же, что в доме новобрачных: «Я весь задрожал... и, боясь, чтобы кто-нибудь не заметил, как я дрожу, поднял глаза и, взглянув на дам, увидел среди них Беатриче... и едва не лишился чувств».

«Пал замертво и, будучи перенесен на постель, некоторое время лежал без чувств», – объясняет «Истолкование» Монтекассино те стихи из Ада, где описан обморок Данте, после рассказа Франчески[7]. Так же объясняет и другое, латинское истолкование этих стихов: «Данте, увидев Беатриче, сходившую по лестнице, пал замертво»[8].

Так же упадет и после первого свиданья с Беатриче в земном раю Чистилища:

...И жало угрызения мне сердце
Пронзило...
...И боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств[9].

Внутреннею связью этих трех обмороков, – земного, подземного, и небесного, – может быть только любовь Данте к Беатриче, ею *разделенная*. Но если так, то все в жизни и в творчестве Данте меняется для нас, – освещается новым светом. Если Беатриче любила Данте, то, в самом деле, новая любовь – «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, не только в жизни Данте, но и в жизни всего человечества.

Смехом вашим убивается жалость[10].
Сладкие стихи любви...
мне должно оставить навек...
потому что явленные в ней (Беатриче)
презренье и жестокость
замыкают уста мои[11].
Долго таил я рану мою ото всех;
теперь она открылась перед всеми...
Я умираю из-за той,
чье сладостное имя: «Беатриче».
...Я смерть мою прощаю той,
кто жалости ко мне не знала никогда[12].
Душа моя, гонимая любовью,
уходит из жизни этой плача...
Но та, кто столько сделала мне зла,
подняв убийственные очи, говорит:
«Ступай, ступай, несчастный, уходи!»[13]

Слишком понятно, почему Данте выключил эти стихи из «Новой жизни»: они разрушают ее, как ворвавшийся в музыку крик человеческой боли; режут, как нож режет тело. «Кто жалости ко мне не знал никогда...», «Кто столько сделал мне зла...» Когда это чита-

ешь, не веришь глазам: здесь уже совсем, совсем другой, нам неизвестный Данте и Беатриче Неизвестная.

«В ее глазах – начало любви, а конец в устах... Но чтобы всякую *порочную мысль* удалить, я говорю... что всех моих желаний конец – ее приветствие»[14]. А эта порочная мысль – поцелуй.

...Любовник страстный
Поцеловал желанную улыбку, —

это место Ланчелотовой повести, погубившее любящих Паоло и Франческу, так же могло бы погубить и других двух, Данте и Беатриче.

Поцеловал уста мои, дрожа, —

в этом, может быть, действительный конец его желаний.

Очи твои обрати к нему.
Открой уста твои,
чтобы видел он вторую красоту твою,
что на земле ты скрыла от него[15], —

соединяют их Ангелы уже в ином «конце желаний».

...Древней сетью
Влекла меня ее улыбки
Святая прелесть[16], —

святая, или все еще грешная даже здесь, на небе, как там, на земле? Только этим вопросом и начинается «Новая жизнь» – новая человеческая трагедия любви в «Божественной комедии».

...Тогда, меня улыбкой побеждая,
Она сказала: «Обратись и слушай;
Не только у меня в очах весь рай!»[17]

Это могла бы сказать и Ева Адаму, еще в земном раю, но уже после грехопадения; могла бы сказать и последнему мужчине последняя женщина.

Если довести до конца это начало желаний, то совершится заповедь: «Будут два одною плотью». Данте об этом и думать не смеет; но, может быть, смеет за него Беатриче, если больше любит и больше страдает, чем он. Только холодный, голубой, небесный цвет «жемчужины» видит в ней Данте; а розового, теплого, земного, – не видит. Но вся прелесть ее – в слиянии этих двух цветов; в ее душе нет «разделения». Этим-то она и спасет его, двойного, – единая.

Тайну земной Беатриче выдает Небесная, более живая, земная, чем та, что жила на земле.

Только что увидев ее в Земном Раю, Данте не радуется, а ужасается, предчувствуя, что и здесь, на небе, она подымет на него «убийственные очи».

И обратясь к Виргилию, с таким же

Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему: «Я весь дрожу;
Вся кровь моя оледенела в жилах:
Я древнюю любовь мою узнал!»
Но не было Виргилия со мной,
Ушел отец сладчайший мой, Виргилий...
И даже светлый рай не помешал
Слезам облить мои сухие щеки
И потемнеть от них лицу. – «О, Данте,
О том, что нет Виргилия с тобой,
Не плачь, – сейчас ты о другом заплачешь!»
Она сказала, и, хотя не видел
Ее лица, по голосу я понял,
Что говорит она, как тот, кто подавляет
Свой гнев, чтоб волю дать ему потом[18].

«Гнев» – «презренье», «жестокость», «явленное в ней презренье и жестокость замыкают уста мои».

Вдруг Ангелы запели.

«Зачем его казнишь ты так жестоко?» —
Послышалось мне в этой тихой песне[19].

Но Беатриче не слышит песни и продолжает казнить – обличать его.

...Каждым словом
Вонзая в сердце острие ножа,
Чей даже край его так больно резал...[20]
...«Что, – больно слушать?
Так подыми же бороду, в глаза
Мне посмотри, – еще больнее будет!» —
Она сказала. Налетевшей буре
Когда она дубы с корнями рвет,
Противится из них крепчайший меньше,
Чем я, когда к ней подымал лицо
И чувствовал, какой был яд насмешки в том,
Что «бородою» назвала она
Лицо мое[21].

«Яд насмешки», il velen de l’argomento; ядом этим отравлен в сердце «вонзаемый нож».

В эту минуту, мог бы он вспомнить здесь, на небе, как там, на земле, в доме новобрачной, «смеялась эта Благороднейшая Дама» над ним, вместе с другими дамами; тем же «ядом» отравляла нож, «вонзаемый в сердце». «Если бы знала она чувства мои, то пожалела бы меня?» Нет, не пожалела бы, потому что любила, а любовь сильнее жалости. Этого тогда не понял он, – понял теперь, когда уже поздно.

...Суровой,
Как сыну провинившемуся – мать,

Она казалась мне, когда я ощутил
Вкус горькой жалости в ее любви[22].

Горькою кажется жалость тому, кто познал сладость любви. Он и это почувствует, когда уже будет поздно и когда вся глубина любви его осветится страшным светом смерти.

...Верный путь
Тебе указан был моею смертью:
Не мог найти в природе и в искусстве
Ты ничего, по высоте блаженства,
Подобного моим прекрасным членам,
Рассыпавшимся ныне в тлен и прах[23].

О смертном теле своем как будто жалеет бессмертная: в этом опять Беатриче Небесная подобна сестре своей, земной и подземной, – Франческе:

Любовь, что благородным сердцем рано
Овладевает, овладела им
К недолговечной прелести моей,
Так у меня похищенной жестоко,
Что все еще о том мне вспомнить больно...

В эту минуту Данте чувствует, может быть, что не она к нему была «безжалостна», а он – к ней.

Как только что я эту жизнь на ту
Переменила, он меня покинул
И сердце отдал женщине другой[24], —

жалуется она Ангелам; и ему самому:

Ты должен был свой путь направить к небу,
От смертного вослед за мной, бессмертной,
Не опуская крыльев в дольний прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок[25].

Вот откуда гнев ее, – от ревности; вот за что она казнит его так жестоко, – за то, что он изменял ей с «девчонками». Тайна Беатриче небесной и тайна земной – одна: любовь к Данте.

...И жало угрызения мне сердце
Пронзило так, что все, что я любил
Не в ней одной, я вдруг возненавидел;
И боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств, и что со мною было, —
Она одна лишь знает.

Кажется, Беатриче на небе делает с Данте то же, что на земле, в чудном и страшном видении: девушка в объятиях бога Любви, «облеченная прозрачной тканью цвета крови»,

пожирает сердце возлюбленного, пьет кровь его, как вампир. Это кажется, но это не так: кто чью кровь пьет, кто кого убивает, Она – его или он – Ее, этого оба они не знают. Здесь как бы «снежная кукла» св. Франциска (его жена «земная», – Небесная – Данте) вдруг наливается живою, теплою кровью. Не потому ли на Беатриче Небесной – одежда не белого цвета, как на земной, а красного, точно «живое пламя» – кровь живая. Страшно-живая жизнь вторгается вдруг в отвлеченно-мертвое видение – аллегорию, Carro, Колесницы Римской Церкви, в тех песнях Чистилища, где происходит неземная встреча Данте с Беатриче, – и опрокидывает эту Колесницу, разбивает ее вдребезги. Вся «Птолемеева система» и даже все строение Дантова Ада, Чистилища, Рая – разрушено; вместо них зияет голая, черная, непонятная, непознаваемая вечность, где только Он и Она, Любящий и Любимая, – в вечном поединке и с вечным вопросом: как соединить любовь земную и небесную, заповедь Отца: «Да будет двое одною плотью», и заповедь Сына: плоть свою убей, будь «скопцом ради Царства Небесного»?

VIII
СМЕРТЬ БЕАТРИЧЕ

Смерть и любовь внутренне связаны, потому что любовь есть высшее утверждение личности, а ее отрицание крайнее – смерть. Бродит Смерть около Любви и подстерегает ее. Вечный страх любящего – смерть любимого. Вот почему и Данте только что полюбил Беатриче, как начал бояться ее потерять.

В первом видении будущего Рая Бог отвечает Блаженным, когда те умоляют Его взять Беатриче на небо:

> *В мире еще потерпите, возлюбленные,*
> *чтоб ваша Надежда (Беатриче), – доколе Мне будет угодно, —*
> *осталась на земле, где кто-то боится ее потерять[1].*

Этот «боящийся» – Данте: вся его любовь – как под Дамокловым мечом, под страхом смерти любимой.

...«Было угодно, в те дни, Царю Небесных сил отозвать во славу свою одну молодую прекрасную даму... И я увидел бездыханное тело ее, лежавшее среди многих плачущих жен... И, вспомнив, что видел их часто вместе с тою Благороднейшей (Беатриче), я не мог удержаться от слез»[2]. – «Видя (чувствуя), как жизнь ее непрочна, хотя она и была еще здорова, я начал плакать»[3]. Плачет над живой, как над мертвой.

Смерть подходит к ней все ближе и ближе: сначала умирает подруга ее, потом отец[4]. Многие дамы собрались туда, где Беатриче плакала о нем. «Так она плачет о нем, – говорили они, – что можно умереть от жалости...» И обо мне говорили: «Что это с ним? Посмотрите, он сам на себя не похож»[5].

«Вскоре после того я тяжело заболел. И на девятый день болезни (девять – трижды три – и здесь, как везде, – число символическое, – вещее знаменье)... вспомнив о Даме моей... я заплакал и сказал: „Умрет и она!“... И закрыл глаза... и начал бредить... И являлись мне многие страшные образы, и все они говорили: „Ты тоже умрешь... ты уже умер!“... И мне казалось, что солнце померкло... звезды плачут... и земля трясется... И когда я ужасался тому... голос друга сказал мне: „Разве ты еще не знаешь? Дама твоя умерла!“ И я заплакал во сне... И сердце сказало мне: „Воистину, она умерла!“ И тогда увидел я мертвое тело ее... И так смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило: „Всякого мира я вижу начало“[6].

Данте тяжело заболел вскоре после того, как умер отец Беатриче 31 декабря 1289 года, следовательно, болезнь относится к началу 1290 года. Смерть Беатриче видит он в страшном видении, а свою – увидел наяву, лицом к лицу, полгода назад, 11 июля 1289 (это вторая,

после помолвки с Джеммой, полным светом истории освещенная точка в жизни Данте), в бою под Кампальдино, где аретинские Гибеллины были жестоко разбиты флорентийскими Гвельфами.

«Доблестно сражаясь в первых рядах конницы... Данте подвергался величайшей опасности», – вспоминает Бруни[7], и сам Данте, в драгоценном отрывке письма, уцелевшем в жизнеописании Бруни: «...в этой битве я участвовал и, хотя не был уже новичком на войне, испытал сперва большой страх, а потом, от различных приключений в бою, величайшую радость»[8].

Очень важным делом кажется Бруни участие Данте в Кампальдинском сражении, а любовь его к Беатриче – «пустяками», leggerezze[9]. Но самому Данте, может быть, наоборот: «пустяками» кажется его военная доблесть, а важным делом – любовь.

Судя по тому, как он вспоминает в «Новой жизни», первый поход, вероятно, на тех же аретинцев, в 1285 году, он не испытал, и в этом втором походе ничего, кроме «большого страха», скуки и отвращения. «В обществе спутников моих я очень тосковал, что удаляюсь от моего Блаженства» (Беатриче)[10]. Он ехал на коне, грустный и задумчивый, потому что против воли. Вдруг увидел на дороге бога Любви, «в легкой одежде, как бы рубище паломника», подобного нищему: «как будто потерял он всю свою власть... и шел, грустно вздыхая, низко опустив голову, чтобы люди не видели его лица»[11]. Что это – аллегория, видение, «галлюцинация», по-нашему, или нечто большее? Как бы то ни было, для самого Данте этот призрачный спутник действительнее всех других его спутников – рыцарей, закованных в железо; а может быть, действительнее даже, чем он сам для себя. Этот таинственный призрак сопутствовал ему, вероятно, и во втором походе так же, как в первом; всю жизнь будет он с ним неразлучен.

Дважды вспомнит Данте о Кампальдинском бое, в «Комедии»; в первый раз, – только для того, чтобы сравнить звук военной трубы, зовущей людей умирать за отечество, с тем непристойнейшим звуком в Аду, которым один из самых зловонных бесов, Барбариччия, сопровождает каждый шаг своего шутовского военного шествия[12]; а во второй раз – только для того, чтобы вспомнить, как один, почти никому не известный воин, Буонконте да Монтефельтро, погибший жалкою смертью в неприятельском войске, спас душу свою в борьбе с дьяволом, последним вздохом к Деве Марии[13]. Вечные судьбы души человеческой дороже для Данте, чем так называемое «спасение отечества». В свой жестокий, железный, воинственный век он – один из самых мирных людей: не только ненавидит, но и презирает войну. И в этом, как во многом другом, к будущему ближе он, чем к прошлому и настоящему.

Может быть, после той тяжелой, едва не смертельной, болезни Данте, Биче, в одну из мимолетных уличных встреч, и прошла мимо него, без приветствия, как проходила во все эти два последних года («жестокость» это или что-то совсем другое, – мучить так человека, почти смертельно больного от любви к ней?). Но по тому, как она вдруг покраснела и побледнела от радости, увидав, что он жив и здоров, он понял, что она простила его и снова позволяет любить себя; и обрадовался этому так, как будто и она его любит; может быть, подумал, в первый раз: «А что, если любит?» Но все равно, любит или не любит, – Она *есть* в мире, и даже если умрет, и не будет Ее, – все-таки *была*: уже в этом одном блаженство для него бесконечное.

Видел я монну Ванну и монну Биче,
идущих навстречу мне.
Чудо одно шло за другим.
И то же, что говорила душа моя,
сказал мне бог Любви: «Имя той: Весна,
а этой: Любовь, – так она похожа на меня», —

вспоминает Данте, может быть, об этих блаженных днях[14].

В первый и последний, единственный раз на земле называет он Беатриче ее земным, простым, уменьшительным именем «Биче» (так назовет ее снова только в раю), – может быть, потому, что вдруг чувствует ее земную, простую близость, в простой, земной любви.

Столь же, как любовь, прежде, казалась мне жестокой,
кажется она мне теперь милосердной...
И чувствует душа моя
такую в ней сладость,
что лицо мое бледнеет[15].

...«Сердце мое было, в эти дни, так радостно, что казалось мне не моим: столь ново было для меня это чувство»[16].

В эти дни, вероятно, и прозвучала одна из самых райских песен земли – о трех певцах любви и трех возлюбленных: Данте и монне Биче, Гвидо Кавальканти и монне Ванне, Лапо Джианни и монне Ладжии[17]. Но и в этой песне Данте не смеет назвать Беатриче по имени, – слишком оно для него свято и страшно; он называет ее «Числом Тридцатым», потому что «всех чудес начало – Три в Одном».

Хотел бы, Гвидо, я с тобой и с Лапо,
В одной ладье волшебной, в море плыть
Так, чтоб сама она, по нашей воле,
Как по ветру неслась, и ни судьба
И никакое зло иное в мире
Нам не могло преградой быть в пути;
Но, чтоб в одном блаженстве бесконечном,
Быть вместе в нас желание росло.
Еще хотел бы я, чтобы волшебник добрый
К нам перенес в ладью и монну Ванну,
И монну Ладжию, и ту, чье имя
Я под числом тридцатым в песне скрыл;
И чтобы в этом светлом море, с ними
Мы о любви беседовали вечно,
И каждая из наших вечных спутниц
Была бы так же счастлива, как мы[18].

Вдруг, в этой блаженной вечности, точно громовой удар из безоблачного неба, – смерть. Монна Биче умерла внезапно, – кажется, в ночь с 8-го на 9 июня 1290 года[19].

Данте еще писал ту песнь о блаженстве любви:

...так овладела мною любовь,
что душа исходит из тела
и об одном только молит любимую, —
дать ей больше этого блаженства.
И это всегда, когда я вижу ее;
и такая в этом сладость, что никто не поверит[20].

«Я еще писал эту канцону и не кончил ее, когда призвал к Себе Господь Благороднейшую, дабы прославить ее, под знамением благословенной Девы Марии, чье имя больше всех других имен почитала она... И, хотя, может быть, следовало бы мне сказать, как она покинула нас, – я не хочу о том говорить... потому что нет у меня слов для того... и еще потому, что, говоря, я должен был бы хвалить себя, converebbe essere me laudatore di me medesimo»[21].

Кажется, здесь один из двух ключей ко всему. Если Беатриче, умирая, произнесла, с последним вздохом, имя Данте и если, узнав об этом, он понял, что она его любила и умерла от любви к нему, то все понятно: ключ отпер дверь[22].

Как она любила и страдала в мрачных, точно тюремных, стенах великолепного дворца-крепости рода де Барди, вельможных менял, – этого люди не знали, не понимали, и никогда не узнают, не поймут. Но только потому, что она так любила, так страдала, – Данте и мог быть тем, чем был, сделать то, что сделал. Славою, какой не было и не будет, вероятно, ни у одной женщины, кроме Девы Марии, думал он ей отплатить; но, может быть, всю эту славу отдала бы она за его простую, земную любовь, и в этом – ее настоящая, совсем иная, и большая слава, чем та, которой венчал ее Данте; этим она и спасет его, выведет из ада, – из него самого, – и вознесет в рай, к Самой Себе. Только для этого любит и страдает она, Неизвестная, во всей своей славе забытая так, что люди спрашивают: «Была ли она?»

«С Ангелами, на небе, живет, по отшествии своем, эта Беатриче Блаженная, а на земле – с моею душой», – хочет Данте утешить себя и не может[23].

«Скорбь его... была так велика... что близкие думали, что он умрет, – вспоминает Боккачио. – Весь исхудалый, волосами обросший... сам на себя не похожий, так что жалко было смотреть на него... сделался он как бы диким зверем или страшилищем»[24].

Кажется, в эти дни, Данте, и в самом деле, был на волосок от смерти. Близкие думали, что он умрет; может быть, он думал это и сам, и этого хотел.

Каждый раз, когда я вспоминаю о той,
кого уже никогда не увижу, —
я зову к себе смерть,
как отдых блаженный[25].

Ждет конца своего и конца мира, напророченного страшным сном-видением о смерти Беатриче: «Солнце померкло... звезды плачут... земля содрогается».

Вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет... и звезды спадут с небес... и силы небесные поколеблются (Мт. 24, 29).

К смерти близок он, или к сумасшествию. Пишет, должно быть, в полубреду, торжественное, на латинском языке, «Послание ко всем государям земли», – не только Италии, но и всего мира, потому что смерть Беатриче – всемирное бедствие, знамение гнева Божия на весь человеческий род[26]. «Ее похитил не холод, не жар, как других людей похищает; но взял ее Господь к Себе потому, что скучная наша земля недостойна была такой красоты»[27]. – «Как одиноко стоит Город, некогда многолюдный, великий между народами. Он стал, как вдова», – начинает он это «Послание» Иеремиины плачем[28]; но мог бы начать и другим:

Дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших... Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? (Лк. 23, 28—31).

Если это «бред безумия», то, кажется, есть в нем и что-то мудрое, в безумном – вещее, действительное – в призрачном: то, что видит Данте во сне, в бреду, – все потом увидят наяву. В 1289 году, в самый канун смерти Беатриче, наступает внезапный конец флорентийского «мира, покоя и счастья», начинаются братоубийственные войны между простым народом и вельможами, между «Черными» и «Белыми». – «Кончились в этом году флорентийские веселья и празднества», – вспоминает летописец тех дней[29].

«После того, как ушла она (Беатриче) из этого мира, весь город остался, как вдова, лишенная всякого достоинства», – вспоминает Данте[30].

Город этот потерял свое Блаженство,
и то, что я могу сказать о нем,
заставило бы плакать всех людей[31].

«Скорбный Город», Citta dolente, – не только Флоренция, но и вся Италия – весь мир.

В Скорбный Город входят через меня,
Per me si va nella Citta dolente...
Эти слова, написанные черным,
я увидел на челе ворот, —
ведущих в Ад[].

Муки любви – первое, а смерть Беатриче – второе для Данте сошествие в Ад.

IX
ПЕСТРАЯ ПАНТЕРА

Кажется, в 1292 году, – года через два по смерти Беатриче, – стоял однажды Данте, «в глубокой задумчивости, вспоминая о прошлых днях», и вдруг, подняв глаза, увидел прекрасную и благородную Даму, смотревшую на него из окна, «с такою жалостью в лице, что, казалось, сама она была воплощенная жалость»[1]. – «И всюду (потом), где Дама эта видела меня, выражало лицо ее жалость ко мне и бледнело, как бы от любви, так что напоминало мне мою благороднейшую Даму (Беатриче), чье лицо было такого же цвета всегда»[2].

Если «Милосердная Дама», «бледнея от любви» к Данте, напоминала ему Беатриче, то, значит, и эта его любила. Не потому ли «цвет жемчуга», color di perle[3], – бледность жемчуга, – главная для него и незабвенная прелесть в лице возлюбленной?

«Я не хочу говорить о смерти ее, потому что, говоря, я должен был бы хвалить себя», – если в этих словах один из двух ключей ко всему, то другой, может быть, здесь: тайна Данте и Беатриче – их любовь взаимная. А если так, то лишь при свете этой, неизвестной нам, Беатриче, мы могли бы увидеть – узнать и неизвестного Данте.

И много раз, глаза от книги подымая,
Бледнели мы, —

вспоминает Франческа да Римини о том, что ее погубило, «довело до рокового шага»[4]. Она «бледнеет» от любви. Здесь опять земная и подземная – сестра Небесной; темная – спутница Светлой, неразлучная с нею, как тень, не только в этом мире, но и в том. «Вечный Строитель мостов» – бог Любви, строит, человеком разрушенный, мост между землей и небом. В жизни Данте этот мост разрушил; но в смерти он построится снова, неразрушимый.

«...И часто, не будучи в силах плакать, чтобы облегчить слезами скорбь мою, я старался увидеть эту Милосердную Даму, одним только видом исторгавшую у меня слезы из глаз...»[5] – «И начали глаза мои слишком услаждаться видом ее, и часто я мучился, потому что это мне казалось очень низким, vile assai... И я говорил глазам моим: „Проклятые! вы должны были бы плакать до смерти о той, кто умерла“[6].

Так же, как некогда с «Дамой Щита» изменял он живой Беатриче, – изменяет он теперь, с этой «Милосердной Дамой», и Беатриче умершей. Служит ему и эта «щитом», но в каком трусливом и жалком поединке с беззащитной – мертвой! «Дама Милосердная», donna pietosa, – уже одно это имя живой оскорбляет память умершей – бессмертной, как будто она была «немилосердной», – той, «кто жалости к нему не знала никогда».

«...Часто думал я об этой Даме, с чрезмерным услаждением, так: „Может быть, самим богом Любви послана мне эта благородная Дама, прекрасная и мудрая, для того, чтобы мне утешиться?“ И сердце мое соглашалось на это... Но, едва согласившись, говорило: „Боже мой, что это за низость!“ Так я боролся с самим собою»[7]. – «Но знал об этой борьбе только тот несчастный, который в себе ее чувствовал»[8]. – «И это было мне так тяжело, что я не мог вынести»[9].

Кажется, именно к этим дням относится начало «Ада», – не в книге, видении, а в жизни, наяву.

Только что выйдя из «темного, дикого леса», selva selvaggia, где заблудился, —

столь горек был тот лес, что смерть немногим горше[10], —

встречает он Пантеру. Быстрая, легкая, ласковая, все забегает она вперед и заглядывает ему в глаза, преграждая путь, и он уж хочет вернуться назад. Но весеннее утро так нежно, солнце восходит так ясно, под знаком тех же звезд, что были на небе, в первый день творения, и «пестрая шкура» Пантеры так весела, что он уже почти перестает ее бояться[11].

Первые истолкователи Дантовых загадок уже разгадали, что эта «пестрая Пантера», Lonza a la gaetta pella, есть не что иное, как «сладострастная Похоть», Lussuria. – «Этому пороку он очень был предан», – вспоминает сын Данте, Пьетро Алигьери[12].

«В жизни этого чудесного поэта, при такой добродетели его... занимала очень большое место, не только в юности, но и в зрелые годы, плотская похоть», – подтверждает и Боккачио[13]. Очень знаменательно, что прежде, чем окунуться в очистительные воды Леты на «Святой Горе Чистилища», Данте влагает в уста Бонаджьюнты, гражданина из Лукки, пророчество об одной из его соотечественниц, Джентукке, тогда еще маленькой девочке, в которую Данте влюбился, почти на старости лет (так, по истолкованию другого сына его, Джьякопо Алигьери)[14]. – «Даруй мне, Господи, целомудрие – *только не сейчас!*» – мог бы молиться и грешный Данте, как св. Августин, боясь быть услышанным слишком скоро[15].

«Славу великих добродетелей своих омрачил он блудом», – вспомнит, лет через пять по смерти Данте, один из его благоговейных почитателей[16].

Кроме двух жен, земной и небесной, Джеммы и Беатриче, жизнеописатели Данте насчитывают до десяти возлюбленных, а сколько еще, может быть, несосчитанных![17]

«С девятилетнего возраста, – вспоминает он сам, —

...я уже любил и знал,
Как взнуздывает нас любовь и шпорит,
И как под ней мы плачем и смеемся.
Кто разумом с ней думает бороться,
Иль добродетелью, подобен тем,
Кто хочет грозовую тучу звоном

Колоколов прогнать...
В борьбе с любовью, воля человека
Свободною не будет никогда;
Вот почему совет в любви напрасен:
Кому в бока она вонзает шпоры,
Тот принужден за новым счастьем гнаться,
Каким бы ни было оно презренным[18].

В детстве, в отрочестве и, может быть, в ранней юности, любовь его невинна; но потом, смешиваясь с «похотью», делается все более грешною, и это продолжается «почти до конца жизни», по свидетельству Боккачио[19]. – «Похотью сплошной была вся моя жизнь, libido sine ullo interstitio», – мог бы сказать великий грешник Данте, вместе с великим святым, Августином.

«Держит меня любовь, самовластная и страшная, такая лютая... что убивает во мне, или изгоняет, или связывает все, что ей противится... и господствует надо мной, лишенным всякой добродетели», – признается Данте, уже почти на пороге старости[20]. Любит, полушутя, – и это хуже всего; играет с любовью, «плачет и смеется» вместе; бежит, издыхая, как загнанный конь под страшным всадником.

О кто поверил бы, что я в таком плену?[21]

Этому, в самом деле, не поверит почти никто, и, чтобы оправдать его, люди изобретут одну из величайших глупостей, – будто бы все нечистые любви его – чистейшие «аллегории»[22].

Здесь, в блуде, небо с землей, дух с плотью уже не борются; здесь «любовь», amore, смешивается с «похотью», lussuria, и бог Любви уже «строит мосты» не между землей и небом, а между землей и адом.

Может быть, самое страшное не то, что Данте изменяет Беатриче с одной из многих «девчонок», – Виолеттой, Лизеттой, Фиореттой, Парголлеттой[23], – не то, что он любит сегодня Беатриче, а завтра – «девчонку»; самое страшное, что он любит их обеих вместе; говорит Виолетте и всякой другой девчонке, в одно и то же время, почти то же и так же, как говорит Беатриче:

...прелестью твоей, нечеловеческой,
ты зажгла огонь в душе моей...

Страшная война противоречивейших мыслей и чувств, высоких святых и грешных, низких, – кончается миром, согласием, еще более страшным. Только что пел неземную любовь:

смертное может ли быть таким
прекрасным и чистым?[24] —

как начинает петь совсем иную любовь к «Даме-Камню», Donna Pietra:

...О, если бы она, в кипящем масле,
Вопила так из-за меня, как я —
из-за нее, – я закричал бы ей:
«Сейчас, сейчас иду к тебе на помощь!»

...О, только б мне схватить ее за косы,
Что сделались бичом моим и плетью, —
Уж я бы их не выпустил из рук,
От часа третьего до поздней ночи,
И был бы к ней не жалостлив и нежен,
А как медведь играющий, жесток!
И если б до крови Любовь меня избила, —
Я отомстил бы ей тысячекратно;
И в те глаза, чье пламя сердце мне
Испепелило, я глядел бы прямо
И жадно; мукой бы сначала – муку, —
Потом любовь любовью утолил[25].

«Данте-поэт лежал однажды с блудницей», – так начинается гнусный и кощунственный анекдот XVII века[26]. Этого не было? Может быть, и не было, но могло быть. Если и не было в действительности, а было только в нечистых желаньях и помыслах, то это, пожалуй, еще хуже.

«Это было мне так тяжело, что я не мог вынести», – вспоминает Данте о борьбе этих согласно-противоположных мыслей и чувств. Но, кажется, он ошибается: в иные минуты, часы или дни жизни, он это не только отлично выносит, но это ему и нравится: сладостно мучается сердце его неутолимой жаждой этих раздирающих его противоречий.

Пестрая, гладкая шкура Пантеры нежно лоснится под утренним солнцем, и светлые пятна чередуются с темными так, что смотреть на них приятно. Нравится ему это смешение светлого с темным, небесного с подземным, – полета с падением. В ласковом мяуканье Пантеры слышится: «Бросься вниз, – с выси духа в бездну плоти, и Ангелы – или демоны – понесут тебя на руках своих, да не преткнешься о камень ногою твоею». Это и значит: падение – полет.

«Вынести я не могу», – говорит Данте и, от страха или от стыда, недоговаривает. «Вынести я не могу», – говорит духовный близнец Данте, или из XIII века в XIX-й «перевоплощенная душа» его, Достоевский, и договаривает, устами Дмитрия Карамазова: «Вынести я не могу, что иной, высший даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто, с идеалом содомским в душе, не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек... я бы сузил... Что уму представляется позором, то сердцу – сплошь красотой... Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут»[27]. В этой «исповеди горячего сердца» Дмитрия Карамазова не узнал ли бы Данте своей души?

Кроме старшего друга-обличителя, Гвидо Кавальканти, был у него и младший друг, ровесник, сосед, брат будущей жены его и, кажется, товарищ всех его любовных похождений за «девчонками», Форезе Донати. Как-то друзья жестоко поссорились, но ненадолго, судя по тому, что снова встретились, как лучшие друзья, на шестом уступе Чистилищной горы, где, года за четыре перед тем умерший Форезе, искупая грех обжорства и пьянства, мучается голодом и жаждой.

Как некогда, там, на земле, над мертвым
Лицом твоим, я плакал, так и ныне
Я плачу здесь над ним, столь жалко искаженным, —

говорит ему Данте, не поминая ни словом о бывшей ссоре. Форезе называет его «милым братом» и, забывая о себе, спрашивает, как мог он, живой, войти в царство мертвых. Но Данте, прежде чем ответит, говорит о прошлом:

...О, тяжко вспомнить,
Какую жизнь с тобою мы вели![28]

Кажется, в это незабываемое прошлое, – в «презренную жизнь», в которой обличает Данте и Гвидо Кавальканти, – дают нам заглянуть шесть бранных сонетов, по три на каждого, которыми обмениваются в ссоре бывшие друзья. Данте обличает Форезе в обжорстве, пьянстве, воровстве, а тот его – в «плутовстве» и «подлой трусости», но не в распутстве; может быть, потому, что в этом они равны. Трудно поверить, читая эти строки, что один из пишущих – Данте. Точно ругаются два ослиных погонщика на большой дороге, или двое пьяниц в доме терпимости, или, в одной из зловоннейших адских «ям», bolgia, два сцепившихся в драке грешника, чью гнусную ругань слушает Данте с таким порочным услаждением, что Виргилий остерегает его:

Желание такие речи слушать
Есть низости душевной знак[29].

Есть и в этой земной ссоре двух друзей, может быть, нечто, не от Форезе, а от Данте идущее, «подземное».

Тогда услышал я – о диво! – запах скверный?
Как будто тухлое разбилося яйцо
Иль карантинный страж курил жаровней серной.
Я нос себе зажал, отворотив лицо[30].

Хуже всего, что этот «скверный запах» смешивается с райским благоуханием тех самых «юных беспорочных дней», когда пишется – живется «Новая жизнь»[31], и что в сердце Данте происходит и теперь то же, что перед сошествием в ад, когда на гладкой, нежно лоснящейся под утренним солнцем, шкуре Пантеры чередование светлых пятен с темными кажется ему «веселым»; хуже всего то, что сердце его хочет утолить горящую жажду противоречий этим смешением Рая с Адом.

«Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое... пусть скажет оно Тебе, чего искало в этом бескорыстном зле – *зле ради зла*». – «Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя губить, amavi perire; любил мой грех, – не то, ради чего грешил, а самый грех. Гнусная душа моя низвергалась с неба Твоего, Господи, во тьму кромешную. Я хотел не чего-либо стыдного, а самого стыда». – «Сладко мне было преступать закон... и, будучи рабом, казаться свободным... в темном подобии всемогущества Божия...» Кто это говорит? Грешный Данте? Нет, святой Августин[32].

«Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор, или в свет и радость... И когда мне случалось погружаться в глубокий позор разврата... я всегда этот гимн Церере читал (Данте читает гимн Беатриче). – Исправлял ли он меня? Никогда! Потому что, если я уж полечу в бездну, то прямо головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в таком унизительном положении падаю... И вот, в самом этом позоре, я вдруг начинаю гимн»... Или наоборот: сначала гимн, а потом «вверх пятами».

Может быть, и в этой исповеди близнеца своего, Дмитрия Карамазова, или самого Достоевского, Данте узнал бы свою душу. Но может быть и то, что без этих двух противо-

положно-согласных внутренних опытов, подземного и небесного, он не создал бы «Божественной комедии». Это очень страшно; и еще страшнее то, что нужно ему было, чтобы спасти себя и других, так погибать от этих внутренних опытов зла.

Вещий сон приснился Данте, в Чистилище: древняя, безобразная «ведьма» превращается, на его глазах, его же собственной «похотью», в юную, прекрасную полубогиню, и слышится ему чарующий зов:

«Я – сладостно поющая Сирена,
Манящая пловцов на ложный путь...
Кто полюбил меня, тот скоро не разлюбит, —
Так чар моих могущественна власть!»
Еще уста поющей не сомкнулись,
Когда явилась мне Жена Святая
И, быстрым шагом подойдя к Сирене
И разодрав ей спереди одежду,
Мне показала чрево той нечистой,
Откуда вышел смрад такой, что я проснулся[33].

Это, может быть, происходит с ним не только на «святой горе Очищения», в том мире, но и в этом, и не однажды, а много раз; едва «проснувшись от смрада», он опять засыпает, и ведьма превращается опять в богиню, «смрад» – в благоухание, – и так без конца.

X
ТЕМНЫЕ ЛУЧИ

Огненная река обтекает предпоследний уступ Чистилищной Горы, там, где начинается лестница, ведущая в Земной Рай. Так же, как все, повинные в блудном грехе, должен пройти и Данте сквозь этот очистительный огонь. Но слыша, как Ангел, стоящий над рекой, поет:

Блаженны чистые сердцем!
Здесь нет иных путей, как через пламя,
Войдите же в него, святые души,
Не будьте глухи к песне за рекой, —

он ужасается:

...И сделавшись таким,
Как тот, кого уже кладут в могилу,
Я обратился к доброму вождю,
И он сказал мне: «Сын мой, помни,
Здесь может быть страданье, но не смерть.
Не бойся же, войди в огонь скорее!»
Но я стоял, недвижимый от страха.
Увидев то и сам смутясь, Виргилий
Сказал мне так: «О, сын мой, видишь,
Между тобой и Беатриче – только эта
стена огня...»
И, головою покачав, прибавил:
«Ты все еще стоишь?» и улыбнулся мне,

Как яблоком манимому ребенку,
И впереди меня вошел в огонь...
За ним вошел и я, но был бы рад
В расплавленное броситься стекло,
Чтоб освежиться: так был жар безмерен.
Но, идучи в огне, со мною рядом, —
Чтоб укрепить меня, отец мой нежный
Мне говорил о Беатриче: «Вот,
Уже глаза, ее глаза я вижу!»[1]

Кажется, сквозь тот же очистительный огонь проходит Данте, и на земле, в эти именно, последние дни своей «презренной жизни».

«Против этого врага моего (Духа искушающего: „Бросься вниз!“ или *Демона Превратности*, как мог бы назвать его другой близнец Данте, тоже сходивший в ад, Эдгар Поэ) – против этого врага поднялось однажды во мне, в девятом часу дня, могучее видение: Беатриче... в одежде того же цвета крови... в том же юном возрасте, как в первый раз, когда я увидел ее (девятилетним отроком)... И, вспомнив прошлые дни, сердце мое мучительно раскаялось в тех низких желаниях, которым дало собой овладеть... и вновь обратились все мои мысли к Беатриче единственной»[2].

Было ему и другое «чудесное видение», mirabile visione, о котором он ничего не говорит, может быть, потому, что оно не выразимо словами, или слишком свято для него и страшно – «чудесно». – «В нем увидел я то, что мне внушает не говорить больше об этой Благословенной, пока я не буду в силах сказать о Ней достойно. К этому я и стремлюсь, насколько могу, и это воистину знает Она; так что если угодно будет Тому, в Ком все живет, даровать мне еще несколько лет жизни, – я надеюсь сказать о Ней то, что никогда, ни о какой женщине не было сказано. Да будет же угодно Царю всякой милости. Sire de la cortesia, чтобы увидела душа моя славу госпожи своей, Беатриче Благословенной, созерцающей лицо Благословенного во веки веков»[3].

Так кончается «Новая жизнь» – первая половина жизни Данте – в той серединной точке, о которой он скажет:

Посередине жизненной дороги[4], —

и начинается вторая половина – «Комедия». Точное разделение этих двух половин Данте сам отмечает одним и тем же словом «начинается», повторяемым в заглавии двух книг, или двух частей одной Книги Жизни: «incipit Vita Nova – incipit Commedia»; «Новая Жизнь начинается», – «начинается Комедия».

Данте пишет «Новую жизнь», вероятно, в 1295 году, когда ему исполнилось тридцать лет[5]. В первой половине жизни, – от девяти лет до тридцати, от первого явления живой Беатриче до последнего, или предпоследнего, земного видения умершей, – Данте любит ее, земную, как небесную; живую, как мертвую. А во второй половине жизни, от тридцати лет до смерти, от последнего земного видения умершей до первого небесного явления Бессмертной, – он любит ее, мертвую, как живую.

Может ли живой чувственно любить мертвую? Этот вопрос людям наших дней, и верующим и неверующим одинаково, кажется умственно нелепым или нравственно чудовищным, получающим ответ только в таких клинических случаях полового безумия, как «вампиризм» или «некрофильство». Может ли мертвая любить живого? Этот вопрос кажется еще более нелепым и чудовищным: уже в нем самом – как бы начало безумия. Вот почему людям наших дней так трудно понять любовь Данте к Беатриче: в лучшем случае, эта любовь для

нас только живой художественный символ, а в худшем – мертвая аллегория. «Беатриче – Священная Теология, la sacra Teologia», как объясняет Боккачио и вслед за ним другие бесчисленные истолкователи Данте[6].

Деторождение – пол и смерть, начало и конец жизни, – для людей не только нашего времени, но и всей христианской эры – две, чувственно физически и метафизически сверхчувственно, несоединимые категории, два несовместимых порядка. Но древняя мистерия – религиозная душа всего дохристианского человечества – только и начинается с вопроса о соединении этих двух порядков; исходная точка всех древних мистерий, от Египта и Вавилона до Елевзиса и Само-фракии, есть половое ощущение трансцендентного, как Божественного или демонического. Бог Любви и бог смерти, Эрос и Танатос, в мистериях, – два неразлучных близнеца.

Может ли живой чувственно любить мертвую? Может ли мертвая так любить живого? Для Данте здесь нет вопроса: он больше, чем верит, – он знает, что это не только может быть, но и *есть*; и что ни на земле, ни на небе нет ничего прекраснее, чище, святее, чем это.

Данте, вероятно, думает, или хотел бы думать, что любит Беатриче умершую, как любил живую, – духовно бесплотно. Но так ли это? В этом, конечно, весь вопрос. Что такое для Данте Беатриче, в своих посмертных «чудесных видениях» – явлениях, mirabile visione? Только ли «бесплотный дух», «призрак», – «галлюцинация», по-нашему? Нет, Данте больше, чем верит, – он знает, что она приходит к нему, живому, – живая, хотя и в ином, нездешнем, «прославленном», теле. Может ли это быть? Но если не может, то не могло быть и этого:

> *Сам Иисус стал посреди них и сказал: мир вам. Они же, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа (демона, daimon, по другому чтению).*
> *Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?.. Это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня (Лк. 24, 36—39).*

Так же, как ученики Иисуса, пугается и Данте, при первом явлении Беатриче в Земном Раю:

> *...я весь дрожу,*
> *Вся кровь моя оледенела в жилах[7].*

И Беатриче говорит ему те ж почти слова, как Иисус – ученикам:

> *...Смотри же, смотри: это я,*
> *Я – Беатриче![8]*

То, что открывалось религиозному опыту всего дохристианского человечества как божественная красота, в соединении двух порядков, здешнего и нездешнего, – Любви и Смерти, – смутно мерещится и людям христианской эры, но уже в искажениях демонических.

Брачная любовь живых к мертвым – сильнейший ожог темных лучей «полового радия». Гоголь знал об этом. Прекрасная панночка-ведьма скачет верхом на молодом бурсаке, Хоме Бруте; он отмаливается, сам вскакивает на нее и, загоняв ее до смерти, влюбляется в мертвую. «Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей – и не мог, несколько вздрогнувши, не зажмурить глаз... Такая страшная, сверкающая красота... В чер-

тах лица ничего не было тусклого, мутного, умершего: оно было живо»[9]. Жизнь сквозь смерть, пол сквозь смерть, – вот в чем ожог радия.

Жалкою гибелью – сначала безумием, а потом смертью – кончается первая брачная ночь живого жениха, Аратова, и мертвой невесты, Клары Милич[10]. Та же гибель постигает и новобрачных в «Коринфской невесте» Гёте.

Выхожу я ночью из могилы,
Чтоб блаженства моего искать,
И, придя туда, где спит мой милый,
Кровь из сердца у него сосать.

Слыша это, как не вспомнить пожираемого возлюбленной сердца любимого, в первом видении Данте?

В книге XVII века, «О поклонении демонам», откуда Гёте заимствует легенду, мертвая невеста говорит родителям жениха: «*Не без воли Божьей* я сюда пришла!» В этих для нас кощунственных или непонятных словах – как бы родимое пятнышко – знак тайного сродства этой христианской легенды с дохристианским таинством[11].

Кажется, знает и Данте этот страшный ожог темных лучей. «Кто мы такие? Кто мы такие?» – спрашивают влюбленных юношей девушки в цветных масках, на флорентийских играх бога Любви[12]; так же могла бы спросить и Беатриче у Данте, приходя к нему, после смерти: «Кто я такая? Кто я такая? Живая или мертвая? Небесная или подземная?»

«*Будут* два одна плоть», – будут, но не суть, в любви брачной, рождающей, смертной, ибо умирает все, что рождается; будут, – в любви бессмертной, воскрешающей.

Сыны Воскресения не женятся, ни замуж не выходят, ибо равны Ангелам (Лк. 20, 35—36).

Но что же такое влюбленность, самое небесное из всех земных чувств, как не греза о небе на земле уснувшего Ангела? И почему сыны Воскресения – «Сыны чертога *брачного*»? Грешный пол уничтожен ли, в святой, преображенной плоти, или преображен вместе с нею?

В Абидосском храме фараона Сэти I, и на гробнице Озириса, в Абидосском некрополе, и в тайном притворе Дендерахского святилища, всюду повторяется одно изображение: на смертном ложе лежит Озирисова мумия, окутанная саваном, – воскресающий, но еще не воскресший, мертвец; и богиня Изида, ястребиха, парящая в воздухе, опускаясь на него, соединяется в любви, живая с мертвым[13]. «Лицо Изиды светом озарилось; овеяла крылами Озириса, – и вопль плачевный подняла о брате»:

Я – сестра твоя, на земле тебя любившая;
никто не любил тебя больше, чем я!

И в Песне Песней Израиль вторит Египту:

Ночью на ложе моем,
искала я того, кого любит душа моя;
искала его, и не нашла...
...Положи меня, как печать, на сердце свое,
как перстень, на руку свою;
ибо крепка любовь, как смерть.

Две тысячи лет Церковь христианская поет эту песнь любви, и мы не слышим, не понимаем, жалкие скопцы и распутники: надо, воистину, иметь в жилах кровь мертвеца, чтобы не понять, что нет и не будет большей любви, чем эта. «Никто на земле не любил тебя больше, чем я!» – «Крепка любовь, как смерть». Это и значит: любовь сквозь смерть – сквозь смерть Воскресение.

Это, может быть, понял бы Данте, лобзая последним лобзанием Беатриче в гробу: только в разлуке смертной понимает любящий, что любовь есть путь к Воскресению.

Главное, еще неизвестное людям, будущее величие Данте – не в том, что он создал «Божественную комедию», ни даже в том, что он вообще что-то *сделал*, а в том, что *был* первым и единственным человеком, не святым, в Церкви, а грешным, в миру, увидевшим в брачной любви Воскресение.

Если в жизни каждого человека, великого и малого, святого и грешного, повторяется жизнь Сына Человеческого, то понятно, почему Данте запомнил, что в последнем земном видении Беатриче, которым кончилась первая половина жизни его и началась вторая, явилась ему Возлюбленная, «в одежде цвета крови», *в девятом часу дня*. Час девятый, а по иудейскому – третий.

Час был третий, и распяли Его (Мк. 15, 25).

В тот же час, и Данте, один из великих сынов человеческих, был распят на кресте Любви.

XI
МЕЖДУ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНОЙ

Кое-что, хотя и очень мало, мы знаем о том, как Данте любил чужую жену, монну Биче де Барди; но о том, как он любил свою жену, монну Джемму Алигьери, мы совершенно ничего не знаем. Эта часть жизни его забыта и презрена не только другими, но и им самим.

Между Данте и Беатриче совершается Божественная Комедия, а между Данте и Джеммой – человеческая трагедия; ту видят все, а эту – никто. «Знал... об этой борьбе с самим собою... только тот несчастный, который чувствовал ее в себе»[1].

Если верить Боккачио, Данте хуже, чем не любил, – «ненавидел» жену свою: «Знала она, что счастье мужа зависит от любви к другой, а несчастье – от ненависти к ней»[2].

Как женился Данте? По свидетельству того же Боккачио, единственного из всех его жизнеописателей, который кое-что знает об этом или думает, что знает, – «видя убийственно горе Данте об умершей Беатриче» и полагая, что своя жена будет для него наилучшим лекарством от любви к чужой, родственники долго убеждали его и наконец убедили жениться. Но лекарство оказалось хуже болезни. – «О, невыразимая усталость жить всегда с таким подозрительным *животным*, sospettoso animale (как ревнивая жена)... и стареть и умирать, в его сообществе!»[3]

После общих мест о несчастных браках почти всех поэтов и философов, Боккачио оговаривается: «Произошло ли и с Данте нечто подобное... я, конечно, не знаю»[4]. Но тут же ссылается на довольно убедительный довод в пользу своих догадок о несчастном браке Данте: «Раз покинув жену, он уже никогда не хотел быть там, где была она, и не терпел, чтобы она была там, где он»[5]. Можно бы на это возразить, что, если бы Данте и любил жену и даже в этом случае, тем более, – он не захотел бы подвергать ее всем бедствиям своей изгнаннической жизни. Но для последних годов этой жизни, проведенных в Равенне, в сравнительном довольстве и покое, довод Боккачио остается в полной силе: если оба сына, Пьетро и Джьякопо, вместе с дочерью Антонией, могли приехать к отцу и поселиться с ним

на эти годы, то могла бы это сделать и жена. А если она этого не сделала, то очень похоже, что Боккачио прав: Данте не любил жену и не хотел жить с нею[6].

Есть на это косвенный намек и у Петрарки, одного из очень немногих, чьи сведения о Данте идут не от Боккачио: «Любовь к жене и детям не могла отвлечь Данте от науки и поэзии; только одного искал он – тени, тишины и молчания»[7].

Кажется, в связи с тем, о чем догадывается Боккачио, и на что намекает Петрарка, знаменательно и молчание самого Данте о жене; и тем знаменательнее, что память сердца у него очень верная. Главная для него горечь изгнания – разлука с любимыми:

О, если б только с милыми разлука
Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях![8]

Как же, при такой тоске, не обмолвился он, за всю жизнь, ни словом о разлуке с женой? Два молчания Данте – об отце и о жене – отягчены, вероятно, двумя одинаково страшными смыслами: отца презирал, жену ненавидел.

«Зла причинила мне в жизни больше всего злая жена», – мог бы, кажется, сказать и Данте, вместе с одним из грешников, в седьмом круге Ада[9].

Кем была Джемма, злой женой или доброй, мы не знаем; но, по некоторым свидетельствам, можно догадываться, что если Данте, в самом деле, не любил ее, или даже ненавидел, то не был к ней справедлив. В 1297 году Дантов тесть, Джеммин отец, Манетто Донати, зная, конечно, как зять небогат и как трудно ему будет выплатить долг, согласился быть поручителем в довольно большом, по тогдашнему времени, займе его, – тысяч в десять лир золотом, на наши деньги. Очень вероятно, что он согласился на это, по просьбе дочери[10]. Судя по этому, Джемма любила Данте и могла бы ему быть доброй женой.

Когда, после изгнания его, все имущество, не разграбленное чернью, было отобрано в казну, Джемме удалось, с большим трудом, спасти крохи своего приданого и вскормить на них, воспитать и поставить на ноги восемь или десять маленьких детей, – «так умно распорядилась она» этими спасенными крохами: свидетельство тем более драгоценное, что идет от злейшего врага Джеммы, Боккачио[11]. Судя по этому, она не только могла быть, но и была доброй и умной женой. Если же Данте не был с нею счастлив, то, может быть, не по ее вине. Очень вероятно, что за простую любовь и за простое счастье с другим, не знаменитым мужем, она отказалась бы от великой, но слишком дорого ей стоившей, чести быть женою Данте.

«Прижил с ней несколько человек детей», – говорит Боккачио, не сознавая, как это страшно, если муж ненавидит жену[12]. С точностью мы знаем только о двух сыновьях Данте, Пьетро и Джьякопо, и о двух дочерях, Беатриче и Антонии (если это не одно лицо под двумя именами, мирским и монашеским). Но кажется, были у него и другие дети, восемь или десять, за двенадцать лет брака. Детям не мешала рождаться ненависть мужа к земной жене и любовь к Небесной.

Маленькая девочка, Джемма Донати, знала, конечно, что помолвлена, по нотариальной записи, с маленьким мальчиком, Данте Алигьери, своим ближайшим соседом по Сан-Мартиновой площади. Долгие годы видела невеста, что жених ее любит другую, и слушала повторяемые всеми вокруг нее «сладкие речи любви», сказанные не ей, а другой. Очень вероятно, что Данте, вопреки Боккачио, женился не после, а до смерти Беатриче. Если так, то Джемма видела все муки любви мужа к другой, и того, что видела, было бы достаточно для всякой женщины, даже ангела во плоти, чтобы сделаться дьяволом или «подозрительным животным».

«Он сердце отдал женщине другой»[13], —

говорит Беатриче, но это с большим правом могла бы сказать Джемма.

Ты должен был свой путь направить к небу...
Не опуская крыльев в дольний прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок[14], —

в этом суде Беатриче над Данте, включает ли она, или не включает, в число «девчонок» и Джемму? Как бы то ни было, более страшной соперницы, чем у жены Данте, не было, и, вероятно, не будет ни у одной женщины в мире. Любит она мужа или не любит, – в сердце ее выжжено имя Беатриче каленым железом.

Чувствовать могла Умершая – Бессмертная замогильную ревность не только к «девчонкам», но и к жене Данте, и даже к этой больше, чем к тем. Вот почему, в «Божественной комедии», оба, Данте и Беатриче, молчат о Джемме, как бы убивают, уничтожают ее этим молчанием, небесные – земную, вечные – временную. Так же, как Данте, проходит и Беатриче – «Священная теология» – мимо церковного таинства брака, точно мимо пустого места. Но сколько бы они ни уничтожали брак, – не уничтожат: Данте будет навеки между монной Джеммой Алигьери и монной Биче де Барди, вечной женой и вечной возлюбленной: а Беатриче – между сером Симоне и Данте, вечным мужем и вечным возлюбленным.

Бедная жена, бедное «животное»! *Нет* ее вовсе, не должно быть и не может быть, в вечности; «пар у нее вместо души», как у животных. Но если так, в глазах человеческих, то, может быть, в Божьих, – не так; столь же бессмертна душа и у той, как у этой. Двое, в глазах человеческих, – Данте и Беатриче, а в глазах Божьих, – трое: Данте, Беатриче и Джемма. Здесь, как везде и всегда, в жизни Данте, – но в каком грозном для него и неведомом, спасающем или губящем смысле, – *Три.*

Кто будет судить Данте, кроме Того, Кто его создал и велел ему быть таким, каков он есть? Но нет никакого сомнения: в свидетельницы на суд Божий над Данте вызвана будет и Джемма.

Может быть, о Сократе кое-что знает Ксантиппа, чего не знает Платон; знает, может быть, и Джемма кое-что о Данте, чего не знает история. Пусть это знание – самое простое, земное, или даже «подземное»; оно все-таки подлинное. Если бы и мы знали о нем все, что знает Джемма, каким новым светом озарилась бы, может быть, вся его жизнь и любовь к Беатриче!

Жена Данте, Джемма Донати, и Нэлла Донати, жена Форезе, – родственницы, кажется, не только во времени, но и в вечности. Если, плача «над мертвым лицом» бывшего друга здесь, на земле, стыдно было Данте вспомнить, как оскорбил он жену его непристойной шуткой, в одном из тех бранных сонетов, которыми обменялся с ним, в ссоре, – то насколько было ему стыднее вспомнить об этом, на горе Чистилища, плача над его живым, «искаженным» мукой лицом!

И я спросил: «Как ты вошел, Форезе,
Сюда, наверх? Тебя я думал встретить
На тех уступах нижних, где грехи
Мученьем долгим искупают души».
И он – в ответ: «Моя вдовица, Нэлла,
Сюда меня так скоро привела,
Пить мучеников сладкую полынь, —
Молитвами и сокрушенным плачем

Освободив от долгих мук внизу.
И знаю: тем она любезней Богу,
В святой любви ко мне и в добром деле,
Чем более, в злом мире, одинока»[15].

Этих простых и вечных слов о брачной любви не вложил бы Данте в уста Форезе, если б чего-то не знал о святом браке, о святой земной любви. – «Брак не может быть помехой... для святой жизни... как думают те, кто постригается в монашество. Только внутренней веры хочет от нас Бог»[16]. Это знает грешный Данте лучше многих святых.

Джемма, если бы Данте любил ее, могла бы стать второй Нэллой. Как Франческа да Римини, Нэлла-Джемма – земная Беатриче, но не во грехе, а в святости. Та совершает чудо любви, на небе, а эта, – на земле. Как соединить земную любовь с небесной? На этот вопрос, поставленный миру и Церкви всей жизнью и творчеством Данте, никто не ответил; и даже никто не услышал его, ни в миру, ни в Церкви.

Людям Церкви Данте кажется сейчас «правоверным католиком». Но если бы исполнилось то, чего он хотел для себя и для мира; если бы мир понял и принял его, «не для созерцания, а для действия», то люди Церкви, вероятно, почувствовали бы в нем и сейчас, как это было при жизни его, запах «ереси» – дым костра, и были бы по-своему правы, потому что одно из двух: или вся полнота брачной любви вмещается в церковном таинстве брака, и тогда любить чужую жену и видеть в этом нечто божественное, как делает Данте, в любви к Беатриче, – значит быть в ереси; или же этой любовью поставлено под знак вопроса церковное таинство брака. А если так, то «Новая Жизнь начинается», incipit Vita Nova, значит: «начинается Вечное Евангелие», incipit Evangelium Actemum, – уже не сына, а Духа, не Второй Завет, а Третий[17].

«После Нового Завета ничего не будет, post Novum Testamentum non erit aliud», – устами св. Бонавентуры возвещает Римская Церковь[18]. «После Нового Второго Завета будет Третий, – Вечное Евангелие Духа Святого», – возвещает устами Данте Иоахим Флорский, —

Калабрийский аббат, Иоахим,
одаренный пророческим духом»[19], —

именно здесь, в брачной любви.

«Это люди, возмущающие вселенную», – жаловались Иудеи римским правителям, в городе Фессалонике, во дни ап. Павла, на учеников Иисуса (Д. А. 17, 6). Распят был и сам Иисус за то, что «возмущал народ» (Лк. 23, 5). И в этом Иудеи были тоже по-своему правы: если высшая мера всего – Закон, а не свобода, то величайший из «возмутителей» – Он, восставший на Закон во имя свободы так, как никто не восставал и не восстанет.

Данте, в любви и во многом другом, – тоже «возмутитель», «революционер», говоря на языке государства; а на языке Церкви – «еретик».

Все «возмущения», «революции», политические и социальные, внешние, совершающиеся между телами и душами человеческими, – буйны, но слабы и неокончательны; только «революция пола», внутренняя, совершающаяся в душе и в теле человека, тишайшая и сильнейшая, окончательна. Начал ее, или мог бы начать, еще неизвестный людям, не прошлый и не настоящий, а будущий Данте.

Кто может вместить, да вместит» (Мт. 19, 12) —

сказано о браке.

«Вы теперь не можете (еще) вместить» (Ио. 16, 12) —

сказано о Духе: этими двумя словами тайна Брака соединяется с тайной Духа. К соединению этому никто, может быть, не был ближе, чем Данте.

Мы, по обетованию Его (Иисуса), ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда (II Пет. 3, 13).

В Царстве Божием, на новой земле, под новым небом, будет, конечно, и новая брачная любовь. С большей надеждой и большим бесстрашием, чем Данте, никто не устремлялся к этой новой любви; с большей мукою никто не был распят на ее кресте. И если будет когда-нибудь эта любовь, то потому, что Данте любил Беатриче.

XII
В ЗУБАХ ВОЛЧИЦЫ

Выйти из внутреннего порядка бытия во внешний, из личного в общественный, из своего «я» – во всех, было тогда, по смерти Беатриче, единственным для Данте спасением.

Цель всего, чем он живет, «не созерцание, а действие». Только думать, смотреть, «созерцать», – вечная, для него, мука – Ад; созерцать и действовать – блаженство вечное – Рай. Кажется, в политику, в дела государственные, кинулся он, в те дни, очертя голову, «не думая откуда и куда идет», – как вспоминает Боккачио, – именно с этой надеждой: начать «действие»[1]. Но и здесь, в бытии общественном, внешнем, подстерегали его, как и в бытии внутреннем, личном, соответственные искушения; те же, что у Сына Человеческого, только в обратном порядке.

Первое искушение, «плотскою похотию», lussuria, – полетом-падением с высей духа в бездну плоти; второе – властью, гордыней; третье – голодом, хлебом. «Бросься вниз», – слышится в ласковом мяуканье Пантеры; «если падши поклонишься мне, я дам тебе все царства мира», – слышится в яростном рыкании Льва, а в голодном вое Волчицы: «повели камням сим сделаться хлебами».

Данте, в политике, находится между Львом и Волчицей, или, говоря на языке наших дней, между «политической проблемой власти» и «социальной проблемой собственности».

Будь проклята, о древняя Волчица,
Что, в голоде своем ненасытимом,
Лютее всех зверей![2]

Чрево у нее бездонное.

Чем больше ест она, тем голодней[3].

Кто эта Волчица, мы хорошо знаем по страшному опыту: жадность богатых, столь же ненасытимая, как зависть бедных, – две равные муки одного и того же лютого волчьего голода.

О, жадность! всех, живущих на земле,
Ты поглотила так, что к небу
Поднять очей они уже не могут[4].

Эта древняя и вечно юная Волчица – та самая проклятая собственность, которую так ненавидел «блаженный Нищий», противособственник, св. Франциск Ассизский. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому, «собственнику», сыну древней Волчицы, войти в Царство Божие: это помнит св. Франциск, а грешные люди забыли; путь его покинули, пошли по другому пути. Раньше, чем где-либо, здесь, во Флоренции, в двух шагах от Ассизи, родины св. Франциска, начали они решать «социальную проблему», не с Богом, в любви, как он, а с дьяволом, в ненависти, как мы. Может быть, не случайно, а как раз для того, чтобы люди увидели и поняли (но не увидят, не поймут), рождается именно здесь, рядом с Коммунизмом Божественным, – дьявольский. В маленькой Флорентийской *Коммуне*, как во всех коммунах Средних веков, уже начинается то, что кончится, – или сделается бесконечным, – в великой Коммуне всемирной, – в Коммунистическом Интернационале XX века; здесь открывается кровоточащая рана у самого сердца человечества, от которой оно и погибнет, если не спасет его единственный Врач.

«Разделился надвое, во дни Данте, город Флоренция, с великой для себя пагубой», – вспоминает Боккачио[5]. Надвое разделился город между богатыми и бедными, «жирным народом» и «тощим», popolo grasso и popolo minuto. – «Было в душе моей разделение», – могла бы сказать и Флоренция так же, как Данте.

Я знаю: разделившись,
Земля спастись не может;
И эта мысль жестоко
Терзает сердце мне, —

сердце учителя, Брунетто Латини, и сердце ученика Данте[6].

Скажи мне, если знаешь, до чего
Дойдет наш город разделенный?[7] —

спросит он, в аду, одного из флорентийских граждан, попавших из-за этого разделения в ад.

За рвом одним и за одной стеною,
Грызут друг друга люди[8].

Волчья склока бедных с богатыми, «тощего» народа с «жирным», есть начало той бесконечной войны, сословной, «классовой», по-нашему, которой суждено было сделаться самой лютой и убийственной из войн. Люди с людьми, как волки с волками, грызутся, – шерсть летит клочьями, а падаль, из-за которой грызутся, – Флоренция, вся Италия, – весь мир.

Уже давно никто землей не правит:
Вот отчего, во мраке, как слепой,
Род человеческий блуждает[9].

В муках «социальной проблемы», «проклятой Собственности», – мрак слепоты глубже всего. Это первый увидел Данте. В эти дни он мог испытывать то же чувство, как в первые дни по смерти Беатриче, когда писал «Послание ко всем Государям земли»:

Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),

и то, что я могу сказать о нем,
заставило бы плакать всех людей.

«На два политических стана, – партии, – Белых и Черных, Bianchi e Neri, весь город разделился так, что не было, ни среди знатных, ни в простом народе, ни одного семейства, не разделенного в самом себе, где брат не восставал бы на брата», – вспоминает Л. Бруни[10]. К Белым принадлежали лучшие люди Флоренции; к Черным, – те, кто похуже, или совсем плохие; хуже всех был главный вождь Черных, Корсо Донати, дальний, по жене, родственник Данте, человек большого ума и еще большей отваги, но жестокий и бессовестный политик.

Белые – умеренные, средние; Черные – крайние. «Данте был человеком вне политических станов, партий»[11]. – «Всю свою душу отдал он на то, чтобы восстановить согласие в разделенном городе», – вспоминает Боккачио[12]. Только «мира и согласия ищет Данте»[13]; думает, в самом деле, только о «благе общем». Слово «партия», «pars», parte, происходит от слова «часть». В слове этом понятие «частного противополагается понятию „целого“, „общего“, – „часть“ бедных – „части“ богатых, в бесконечной и безысходной, братоубийственной войне. Вот почему для Данте любимейшее слово – „мир“, pace, ненавистнейшее – „партия“, parte; он знает, что смысл этого слова – война всех против всех: не только Флоренция, но и вся Италия, – весь мир, сделавшись добычей „партий“, „частей“, – превратится в „Град разделенный“ „Citta partita“ – „Град Плачевный“, „Citta dolente“, – Ад[14].

Данте соединяется с Белыми, умеренными, против Черных (большей частью мнимых вождей народа, а в действительности, – вожаков черни). Это ему тем труднее, что сам он, внутренне, вовсе не «умеренный», «средний», но «крайний» и «безмерный».

Чтобы обойти в 1292 году принятый и направленный против богатых и знатных граждан закон, воспрещавший тем, кто не был записан в какой-либо торговый или ремесленный цех, исполнять государственные должности, – Данте вынужден был записаться, в 1295 году, в «Цех врачей и аптекарей», Arte dei medici e speciali[15].

Гвидо Кавальканти, верный до конца себе и своему презрительному к людям, вельможному одиночеству, не без тайного злорадства мог наблюдать, в эти дни, как, пропустив мимо ушей остерегающий голос его:

Ты презирал толпу, в былые дни,
И от людей докучных, низких, бегал, —

Данте, неизвестный поэт, но известный аптекарь, оказался на побегушках у Ее Величества, Черни[16].

Но только что поэт сделался аптекарем, как был вознагражден: 1 ноября 1295 года Данте избран на шесть месяцев в Особый Совет Военачальника флорентийской Коммуны, consiglio speciale del Capitano del Popolo; в том же году – в Совет мудрых Мужей, Consiglio dei Savi, для избрания шести Верховных Сановников Коммуны, Приоров; в 1296 году – в Совет Ста, Consiglio de Cento; в 1297-м, – еще в другой Совет, неизвестный; в мае 1300-го отправлен посланником в Сан-Джиминиано для заключения договора с Тосканскою Лигой Гвельфов, Lega Guelfa Toscana; 15 июня того же года избран одним из шести Приоров и, наконец, в октябре 1301 года отправлен посланником к папе Бонифацию VIII[17].

«Данте был одним из главных правителей нашего города», – скажет историк тех дней, Дж. Виллани[18].

Явно подчиняясь воле народа, чтобы достигнуть власти, Данте питал будто бы «лютейшую ненависть к народным правлениям», – полагает Уго Фосколо[19]. Так ли это?

Два врага в смертельном поединке: «маленький» Данте, действительный или мнимый враг народа, и, тоже действительный или мнимый друг его, «большой» мясник Пэкора,

Pecora, il gran beccaio; человек огромного роста, дерзкий и наглый, великий краснобай, «более жестокий, чем справедливый»[20]. Данте – вождь народа, а вожак черни – Пэкора. «Лютою ненавистью» ненавидит Данте не истинное, а мнимое народовластие – власть черни, ту «демагогию», где, по учению Платона и св. Фомы Аквинского, *качество* приносится в жертву *количеству*, личность – в жертву безличности, свобода – в жертву равенству[21]. Между этими двумя огнями, – свободой и равенством, – вся тогдашняя Флоренция, вся Италия, а потом будет и весь мир. «Качество» – за Данте, «количество» за Пэкорой. Данте будет побежден Пэкорой: с этой победы и начнется то, что мы называем «социальной революцией»[22]. В Церкви, первый увидел эту страшную болезнь мира св. Франциск Ассизский, в миру, – Данте.

Флоренция, твои законы так премудры,
Что сделанное в середине ноября
Не сходится с твоим октябрьским делом.
Уж сколько, сколько раз за нашу память
Меняла ты законы и монету,
И должности, и нравы, обновляясь!
Но, если б вспомнила ты все, что было,
То поняла бы, что подобна ты больной,
Которая, не находя покоя,
Ворочается с боку на бок, на постели,
Чтоб обмануть болезнь[23].

«Сам исцелися, врач», – мог бы сказать и, вероятно, говорил себе Данте, в эти как будто счастливые дни. Телом был здоров, а духом болен, – больнее, чем когда-либо; хотел поднять других, а сам падал; хотел спасти других, а сам погибал.

К этим именно дням рокового для него и благодатного 1300 года относится его сошествие в Ад, не в книге, в видении, а в жизни, наяву, – то падение, о котором скажет Беатриче:

Напрасно, в вещих снах, и вдохновеньях,
Я говорила с ним, звала его,
Остерегала, – он меня не слушал...
И, наконец, так низко пал, что средства
Иного не было его спасти,
Как показать ему погибших племя – (Ад)[24].

Кажется, в эти дни Данте меньше всего был похож на то жалкое «страшилище», пугало в вертограде бога Любви, каким казался в первые дни или месяцы по смерти Беатриче; он сделался, – или мечтал сделаться, – одним из самых изящных и любезных флорентийских рыцарей, ибо «всему свое время», по Екклезиастовой мудрости: «время плакать, и время смеяться»; время быть пугалом, и время быть щеголем; время любить Беатриче, и время бегать за «девчонками».

«Удивительно то, что, хотя он постоянно был погружен в науки – или в глубокую, внутреннюю жизнь, – никто этого не сказал бы: так был он юношески весел, любезен и общителен», – вспоминает Бруни о более ранних годах, но, кажется, можно было бы то же сказать и об этих[25]. Жил он тогда с «таким великолепием и роскошью», что «казался владетельным князем в республике»[26]. Если действительность и преувеличена в этом последнем свидетельстве, ему отчасти можно верить. Весною 1294 года Данте, в числе знатнейших молодых флорентийских рыцарей, назначен был в свиту блистательно чествуемого, восьмиднев-

ного гостя Флорентийской Коммуны, венгерского короля, Карла II Анжуйского[27]. Юный король, усердный поклонник Муз, знавший, вероятно, наизусть Дантову песнь:

Вы, движущие мыслью третье небо[28], —

и молодой поэт Алигьери так успели подружиться за эти восемь дней, что встреченная Данте в раю тень преждевременно умершего Карла скажет ему:

...недаром ты меня любил:
Будь я в живых, тебе я показал бы
Плоды моей любви, – не только листья[29].

Это значит, в переводе на тогдашний, грубоватый, но точный, придворный язык: «Я бы не только почестями тебя осыпал, но и озолотил». Этого он сделать не успел; и, кажется, королевская дружба дорого стоила бедному рыцарю, Данте. Если, и в кругу мещанском, трудно было ему сводить концы с концами, то теперь, когда вошел он в круг «золотой молодежи», это сделалось еще труднее. Чтобы не ударить лицом в грязь перед новыми друзьями и подругами, Виолеттами, Лизеттами и прочими «девчонками», нужна была хоть плохонькая роскошь, – богатая одежда с чужого плеча; но и она так дорого стоила, что он по уши залез в долги.

Вот когда мог он почувствовать на себе самом острые зубы «древней Волчицы» – ненасытимой Алчности богатых, Зависти бедных: две эти, одинаково лютые, страсти – острия зубов той же волчьей пасти. Вот когда начинается игра уже не пифагоренских, божественных, а человеческих или дьявольских чисел.

В пыльных пергаментах флорентийских архивов уцелели точные цифры никогда, вероятно, не оплаченных Дантовых долгов. Эти скучные мертвые цифры – как бы страшные следы от глубоко вдавленных в живое тело волчьих зубов.

В 1297 году, 11 апреля, Данте, вместе со сводным братом своим, – мачехиным сыном, Франческо Алигьери, и под его поручительством, занимает 277 флоринов золотом; 23 декабря того же года – еще 280 флоринов, под двойным поручительством, брата и тестя; 14 мая 1300 года – еще 125; 11 июня того же года, в самый канун избрания в Приоры, – еще 90, у некоего Лотто Каволини, знаменитого флорентийского ростовщика; а в следующем 1301 году, – уже маленькие займы, в 50 и даже в 13 флоринов: всего, за пять лет, от 1297 до 1301 года, – 1998 флоринов, около 100 000 лир золотом на нынешние деньги: заем, по тогдашнему времени и по средствам должника, – огромнейший[30].

По уши залез в долги и запутался в них так, что уже никогда не вылезет. Мог ли он не понимать, что не будь он человеком, стоящим у власти, «одним из главных правителей города», то ни заимодавцы, ни поручители не доверили бы ему таких огромных денег? Мог ли не предвидеть, как легко будет сказать злым языкам, что такие займы не что иное, как, в утонченном и облагороженном виде, «взятки», «лихоимство» и «вымогательство»? Мог ли не сознавать, какое страшное оружие давал он этим в руки злейшим своим врагам?

15 мая 1300 года, вечером, на площади Санта-Тринита, где происходило майское празднество с веселыми песнями и плясками, отряд молодых вооруженных всадников, Черных, нечаянно или нарочно, наехал сзади на такой же отряд Белых. Началась драка, и кто-то кому-то отрубил нос мечом. «Этот удар меча был началом разрушения нашего города», – вспоминает летописец. «Снова разделился весь город на Больших людей, Grandi, и Маленьких, Piccolini», на Жирный народ и Тощий[31]. А 24 июня, в Иванов день, на площади Баптистерия, знатные граждане из Черных напали на цеховых Консулов, Consule delle Arti, несших, в торжественном шествии, дары покровителю Флоренции, св. Иоанну Предтече. «Мы побе-

дили врагов, в бою под Кампальдини, а вы, в награду за то, лишили нас всех должностей и почестей!» – кричали нападавшие. Произошел уличный бой, и весь город был в смятении[32].

В те же дни открыт был опаснейший заговор Черных, имевший целью мнимое «умиротворение» города – действительный разгром Белых, с помощью папы Бонифация VIII и, призванного им, чужеземного хищника, Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа Красивого. Страх и смятение в городе усилились этим так, что он «весь взялся за оружие»[33].

Синьория решила воспользоваться случаем восстановить мир, обезглавив оба стана, Белых и Черных, ссылкой их главных вождей. Этот мудрый совет дан был новым Приором, Данте Алигьери. Первый и лучший друг его, Гвидо Кавальканти, оказался в числе изгнанных Белых[34]. «Друга своего лучшего не пожалел он для общего блага», или, говоря казенным красноречием тех дней, «друга заклал на алтаре Отечества», – таков общий смысл того, что говорят, или думают, или хотели бы думать об этом почти все жизнеописатели Данте, вслед за первым это сказавшим или подумавшим, Бруни[35]. Но если Данте нечто подобное и чувствовал, то недолго. Месяца через два-три, к удивлению всех и к негодованию Черных, Белым было позволено вернуться из ссылки, между тем как Черные продолжали в ней томиться. Это сделано было, вероятно, не без настояния Данте; так, по крайней мере, скажут впоследствии Черные, не преминув обвинить его в пристрастии к другу, Гвидо Кавальканти.

Если Белых вернули, действительно, по настоянию Данте, то очень вероятно, что «общее благо» не заглушило в нем чувства более сильного и глубокого, – может быть, раскаяния, и он захотел исправить сделанное зло. Но было поздно: Гвидо, в месте ссылки, в Лунийской Маремме, заболел болотной лихорадкой и вернулся во Флоренцию только для того, чтобы через несколько дней умереть.

Что почувствовал Данте, узнав об этой смерти, когда все уже было кончено, потому что духу у него, вероятно, не хватило пойти проститься с умирающим или мертвым Гвидо? Сказал ли Данте себе сам, или услышал сказанное ему тем Вечным Голосом, который все люди услышат когда-нибудь: *кровь его на тебе?*

Очень вероятно, что в эти первые дни по смерти Гвидо у Данте бывали минуты, когда все как будто шло очень хорошо, – приоры слушали его внимательно, ростовщики давали деньги охотно, «девчонки» улыбались ласково, – и вдруг точно чья-то ледяная рука сжимала ему сердце, и он, среди белого дня, чувствовал себя, как человек, проснувшийся ночью от тяжелого сна; потихоньку ото всех, – от приоров, ростовщиков и «девчонок», – хватался рукой за скрытую под одеждой и никогда не снимаемую, веревку св. Франциска. Крепко надеялся он на нее; больше, чем верил, – знал, что она его спасет, – со дна адова вытащит, – и не ошибся: вытащит, но если б он знал, – через какие муки Ада!

XIII
МАЛЕНЬКИЙ АНТИХРИСТ

«Римский Первосвященник, Наместник Того, Кого поставил Бог судить живых и мертвых, и Кому дал всякую власть на земле и на небе, господствует надо всеми царями и царствами; он превыше всех людей на земле... Всякая душа человеческая да будет ему покорна», – возвещает миру, в 1300-м, великом, юбилейном году, папа Бонифаций VIII[1]. «Я сам император! Ego sum imperator», – отвечает он Альберту Габсбургскому, когда тот просит подтвердить его избрание в Кесари[2]. «Папа Бонифаций хотел подчинить себе всю Тоскану», – говорит летописец тех дней[3]. Хочет подчинить сначала Тоскану, затем всю Италию, всю Европу, – весь мир. Чтобы овладеть Тосканой, вмешается в братоубийственную войну Белых и Черных, в «разделенном городе», Флоренции, – в волчью склоку «тощего народа» с «жирным», бедных с богатыми, – в то, что мы называем «социальной революю-

цией»; он призовет в Италию мнимого «миротворца», Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа Красивого. «Мы низложим короля Франции», – скажет о нем Бонифаций, когда тот не пожелает признать его земного владычества[4].

Кто же этот человек, желающий господствовать «надо всеми царями и царствами», super reges et regna, возвещающий миру, подобно воскресшему Господу: «Мне дана всякая власть на небе и на земле»? Помесь Льва, Пантеры и Волчицы, в трех искушениях Данте, – помесь жестокости, жадности и предательства, – продолжатель великих пап, Григория VII, Григория IX, Иннокентия III, в гнусно искаженном виде; предшественник Александра VI Борджиа, великий «антипапа» – «маленький антихрист». Это первый понял Данте и, чтобы начать с ним борьбу, «кинулся в политику, очертя голову».

В споре Белых с Черными разгорается с новой силой все тот же, бесконечный, столько веков Италию терзавший, спор Гвельфов с Гибеллинами. Против чужого императора – за своего, родного, папу-кесаря стоят Гвельфы, а Гибеллины – против своего за чужого, потому что знают, или предчувствуют, что чужой, добрый, лучше своих, злых и безбожных, какими не могут не быть, и будут те, кто, от имени Христова, «падши поклонится» князю мира сего.

Черные – такие же Гвельфы, как Белые, но между ними происходит все та же, хотя и в иной плоскости, черта разделения, как между Гвельфами и Гибеллинами. Среди Белых есть и восставшие против земного владычества пап, за вольную Коммуну Флоренции. Черные, на деле, стоят только за себя, потому что они слишком действенные, или, как мы говорим, «реальные» политики, чтобы думать о далеких целях. Но если бы подумали, то сказали бы, что они против многих борющихся и терзающих Италию Коммун за единого Кесаря-Папу, возможного миротворца и объединителя разъединенной Италии[5].

Вечный спор Церкви с Государством, Града Божия с Градом человеческим, отражается в споре Черных с Белыми, как в луже – грозовое небо, полное блеском молний. Поднят и здесь опять вечный вопрос об отношении одного слова Господня: «Мне принадлежит всякая власть на небе и на земле», – к другому: «Царство Мое не от мира сего». Но эту глубину спора видит или предчувствует, может быть, один только Данте.

Пять лет, от 1296 года до 1301-го, борется, безоружный и почти неизвестный, гражданин Флоренции с могущественнейшим государем Европы: Данте – с папой Бонифацием VIII.

Летом 1301 года, когда папский легат, кардинал Акваспарта, пытался, вмешательством в государственные дела Коммуны, осуществить «полноту власти» Римского Первосвященника, plenitude potestatis, – Флорентийская Синьория, вдохновляемая новым Приором, Данте, противится тайным козням кардинала, и папа, раздраженный этим противлением, уполномочивает легата отлучить от Церкви всех правителей города и сместить их, отобрав в церковную казну их имущество.

Данте избегнет отлучения только потому, что легат, обманутый слабой надеждой на уступки, замедлит отлучением до сентября, когда избраны будут новые приоры.

Раньше, в том же 1301 году, 15 марта, Данте, в Совете Мудрых Мужей, уже воспротивился выдаче денег папскому союзнику, королю Карлу Анжуйскому, для отвоевания Сицилии[6], а 19 июня, в Совете Ста, дважды подал голос против продления службы сотни флорентийских ратников, находившихся в распоряжении папы: «Для службы Государю папе ничего не делать, nihil flat»[7].

Так отвечает Данте на буллу папы Бонифация VIII о земном владычестве Римского Первосвященника: Unam Sanetam. Вот когда перестает он наконец только думать, смотреть – «созерцать» и начинает «действовать». – «Новая жизнь начинается» для него, уже в порядке не личном, а общественном, не в брачной, а в братской любви.

После года 1283-го, второй, для Данте, роковой и благодатный год, – 1300-й. В этом великом для всего христианского мира юбилейном году совершится сошествие Данте в Ад.

Будучи в Риме, мог он видеть, как, в базилике Петра, над осквернённой могилой «нищего рыбаря», там, «где каждый день продается Христос», жадные дети «древней Волчицы», римские священники, с раннего утра до поздней ночи, загребают деревянными лопатками груды золотых, серебряных и медных монет – плату за продаваемые паломникам отпущения грехов[8]. Что испытал тогда паломник Данте, – в сознании своем, правовернейший католик, бессознательно было мятежнее, может быть, и «революционнее», нежели то, что, через двести лет, испытает паломник Лютер. Вот о чем Данте скажет себе и миру:

Знай, что сломанный Змием (Диаволом) ковчег (Римской Церкви)
был, и нет его, —

по слову Откровения:

зверь, коего ты видел, был и нет его, fuit et non est[9].

Медленно, трусливо и жадно, как ворон, приближается к человеку еще не мертвому, но умирающему, – приближался осенью 1301 года, к беззащитной, внутренней войной раздираемой Флоренции Карл Валуа, «миротворец». То, что, за пять лет, предвидел Данте, теперь исполнялось. Чувствуя себя обреченными, Белые решили отправить посольство к папе, чтобы принести ему повинную и умолить не отдавать несчастного города чужеземному хищнику.

Если Данте, злейший враг папы, только что едва не отлученный от Церкви, согласился быть одним из трех послов, отправленных в город Ананью, где находился тогда Бонифаций, то этим он выказал великое мужество и жертвенный дух в служении родине[10]. «Если я пойду, кто останется? Если я останусь, кто пойдет?» – сказал он будто бы после минутного раздумья, когда ему предложено было участие в посольстве[11]. Слово это запомнили и поставили в счет его «безумной гордыне». Если он этого и не говорил, то, вероятно, мог так думать и чувствовать. Но гордыни здесь не было, а был ужас одиночества: в этом деле, как в стольких других, он чувствовал, что не только во Флоренции, но и во всей Италии, во всем мире, он один знает, что в мире будет.

Данте и Бонифаций встретились в Ананье, как два смертельных врага в поединке, – таких же здесь, в Церкви, как там, в Государстве, – великий пророк Духа, Алигьери, и «большой мясник», Пэкора.

«Дети мои, зачем вы так упрямы? – говорил будто бы папа трем флорентийским послам, с глазу на глаз, приняв их в тайном покое дворца. – Будьте мне покорны, смиритесь! Истинно вам говорю, ничего не хочу, кроме вашего мира. Пусть же двое из вас вернутся во Флоренцию, и да будет над ними благословение наше, если добьются они того, чтобы воля наша была исполнена!»[12]

«*Мира* хочу» – каким осквернённым, в устах великого Антипапы, маленького Антихриста, должно было казаться Данте это святейшее для него слово: «мир», расе!

До крови однажды разбил Бонифаций лицо германского посланника, ударив его ногой, когда тот целовал его туфлю[13]. Если бы он так же ударил и флорентийского посланника, Данте, то было бы за что, в прошлом и в настоящем, особенно же в будущем: ни один человек так не оскорблял другого, в вечности, как Данте оскорбит Бонифация. Странное видение огненных ям, в аду, куда низринуты будут, вниз головой, вверх пятами, все нечестивые папы, торговавшие Духом Святым, – может быть, уже носилось перед глазами Данте, когда он целовал ноги Бонифация.

Торчали ноги их из каждой ямы,

До самых икр, а остальная часть
Была внутри, и все с такою силой
Горящими подошвами сучили,
Что крепкие на них веревки порвались бы...
Над ямою склонившись, я стоял,
Когда один из грешников мне крикнул:
«Уж ты пришел, пришел ты, Бонифаций?
Пророчеством на годы я обманут:
Не ждал, что скоро так насытишься богатством,
Которое награбил ты у Церкви,
Чтоб растерзать ее потом!»[14]

Двое посланных отпущены были назад, во Флоренцию, а третий, Данте, остался у папы, в Ананье или в Риме, заложником, и только чудом спасся, как пророк Даниил – из львиных челюстей.

1 ноября 1302 года, в день Всех Святых, входит во Флоренцию с небольшим отрядом всадников Карл Валуа, – маленького Антихриста «черный херувим» и, подняв, через несколько дней, жесточайшую междоусобную войну в городе, опустошает его огнем и мечом[15].

Из Франции... придет он, безоружный,
С одним Иудиным копьем, которым
Флоренции несчастной вспорет брюхо[16].

После Карла ворвался в город и мессер Корсо Донати, во главе изгнанников, Черных, водрузил, как победитель, знамя свое на воротах Сан-Пьеро, и тотчас же начались доносы, следствия, суды, казни, грабежи и пожары[17].

«Что это горит?» – спрашивал Карл, видя зарево на ночном небе.

«Хижина», – отвечали ему, а горел один из подожженных для грабежа великолепных дворцов[18].

Пять дней длился этот ужас, или, по-нашему, «террор». Треть города была опустошена и разрушена[19]. Вот когда исполнилось предсказание Данте:

Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),
И то, что я могу сказать о нем,
Заставило бы плакать всех людей.

Вскоре вернулся во Флоренцию и другой «миротворец» папы, кардинал Акваспарта[20]. В новые приоры избраны были покорные слуги папы, из Черных, а бывшие приоры, Белые, в том числе и Данте, преданы суду.

27 января новым верховным правителем Коммуны, Подеста, мессером Канте де Габриелли, жалкою папской «тварью», creatura, скверным адвокатишкой, но отличным судейским крючком и сутягой, объявлен был судебный приговор: Данте, вместе с тремя другими бывшими приорами, обвинялся в лихоимстве, вымогательстве и других незаконных прибылях, а также в подстрекательстве граждан к «междоусобной брани и в противлении Святой Римской Церкви и Государю Карлу, миротворцу Тосканы». Все осужденные приговаривались к пене в 5000 малых флоринов, а в случае неуплаты в трехдневный срок – к опустошению и разрушению части имущества, с отобранием в казну остальной части; но и в случае

уплаты – к двухгодичной ссылке, к вечному позору имен их, как «лихоимцев-обманщиков», и к отрешению ото всех должностей[21].

В тот же день конный глашатай, с длинной серебряной трубой, объезжал квартал за кварталом, улицу за улицей, площадь за площадью, «возглашая приговор внятным и громким голосом»[22].

Где бы ни был Данте в тот день – в Ананье, в Риме или на обратном пути во Флоренцию, – ему должно было казаться, что слышит и он, вместе с тридцатью тысячами флорентийских граждан, этот голос глашатая: «Данте – лихоимец, вымогатель, взяточник, вор». Вот когда понял он, может быть, какое дал оружие врагам, запутавшись в неоплатных долгах.

В том, за что осужден был только на основании «слухов», как сказано в самом приговоре, – Данте был чист, как новорожденный младенец: это знали все[23]. «Изгнан был из Флоренции без всякой вины, только потому, что принадлежал к Белым», – свидетельствует лучший историк тех дней, Дж. Виллани[24]. А все же удар был нанесен Данте по самому больному месту в душе, – где оставался в ней страшный след от зубов «древней Волчицы», – проклятой Собственности – Алчности богатых, Зависти бедных. Трубным звуком и голосом глашатая повторялось как будто до края земли и до конца времен бранное двустишие, с одним только измененным словом:

...тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же вор презреннейший, как он.

В самый день объявления приговора старое гнездо Алигьери, на Сан-Мартиновой площади, дом Данте разграблен был буйною чернью, а жена его, с малолетними детьми, выгнана, как нищая, на улицу[25].

В том же году, 10 марта, объявлен был второй приговор над Данте, с другими четырнадцатью гражданами из Белых: «Так как обвиненные, не явившись на вызов суда... тем самым признали вину свою... то, если кто-либо из них будет схвачен... огнем да сожжется до смерти»[26].

Данте знал, кто главный виновник этих двух приговоров – не Канте де Габриелли, верховный правитель Флоренции, не Корсо Донати, вождь Черных, а тот, кто стоял за ними, – папа Бонифаций VIII.

Этого хотят, этого ищут,
и кто это готовит, тот это сделает там,
где каждый день продается Христос[27].

«Древняя Волчица» отомстила за возлюбленного сына своего, Бонифация. В вечном огне будет гореть папа, а Данте, – во временном. «До смерти огнем до сожжется», igne comburatur sic quod moriatur, – этот приговор над ним исполнится:

О, если б только с милыми разлука
Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях![28]

Данте, в изгнании, будет гореть до смерти на этом медленном огне тоски.

«Может быть, все, что люди называют *Судьбой* (случаем), управляется каким-то Тайным Порядком (Божественным Промыслом)», – говорит св. Августин обо всей жизни своей[29]. То же мог бы сказать и Данте. Если б, оставшись в родной земле, продолжал он

жить, как жил, – что было бы с ним? Очень вероятно, что, запутавшись окончательно в противоречиях между любовью к Беатриче и блудом с «девчонками», между долгом отечеству и долгами ростовщикам, между общим благом и личным злом (таким, как страшная смерть, почти «убийство» Гвидо Кавальканти), он сделался бы жертвой одного, двух, или всех трех Зверей, – Пантеры, Льва, Волчицы, – Сладострастия, Гордыни, Жадности. И погибла бы не только «Божественная комедия» Данте, но и то, что бесконечно драгоценнее, – он сам.

Чтобы спастись, надо ему было пройти сквозь очистительный огонь той Реки, на предпоследнем уступе Чистилищной горы, о которой Ангел поет:

Блаженны чистые сердцем!
Здесь нет иных путей, как через пламя.

Если Данте думал, что прошел сквозь этот огонь, в тот последний день своей «презренной жизни», когда покаялся и увидел Беатриче умершую – бессмертную, в первом «чудесном видении», то он ошибался: лишь начал тогда входить в огонь, а вошел совсем только теперь, в изгнании. Тогда горела на огне только душа его, а теперь – душа и тело вместе, и будут гореть, пока он весь не очистится и не спасется.

Так чудо божественного Промысла совершается перед нами воочию, в жизни Данте.

Злейший враг его, папа Бонифаций VIII, произнеся свой приговор: «Огнем да сожжется», хочет быть его палачом, а делается Ангелом-хранителем.

Главная точка опоры для человека – родная земля. Вот почему одна из тягчайших мук изгнания – чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, висящий на веревке, полуудавленный, который хотел бы, но не мог удавиться совсем, и только бесконечно задыхался бы. Нечто подобное испытывал, должно быть, и Данте, в первые дни изгнания, в страшных снах, или даже наяву, что еще страшнее: как будто висел в пустоте, между небом и землей, на той самой веревке св. Франциска, на которую так крепко надеялся, что она его спасет и со дна адова вытащит. «Вот как спасла!» – думал, может быть, с горькой усмешкой; не знал, что нельзя ему было иначе спастись: нужно было висеть именно так, между небом и землей, и на этой самой веревке, чтобы увидеть небо и землю, как следует, – самому спастись и спасти других той Священной Поэмой, к которой

Приложат руку Небо и Земля[30].

XIV
ДАНТЕ-ИЗГНАННИК

«По миру пошли они, стеная, одни – сюда, а другие – туда», – вспоминает летописец, Дино Кампаньи, об участи флорентийских изгнанников, Белых[1]. Так же пошел по миру и Данте-изгнанник.

Все, что любил, покинешь ты навеки,
И это будет первою стрелой,
Которой лук изгнанья поразит...
Узнаешь ты, как солон хлеб чужой
И как сходить и подыматься тяжко
По лестницам чужим[2].

Это узнает он не сразу: медленно вопьется в сердце ядовитая стрела изгнанья; медленно отравит в нем кровь. Только что немного оправившись от первого внезапного удара, он начал, вероятно, утешаться обманчивой надеждой всех изгнанников – скоро вернуться на родину.

«Данте, узнав о своей беде в Риме, где был посланником у папы, тотчас выехал оттуда (или бежал) и прибыл в Сиену; здесь только, ясно поняв всю беду и не видя иного средства выйти из нее, решил он соединиться с прочими изгнанниками», – вспоминает Л. Бруни[3].

8 июня 1302 года собрались изгнанники в горном аббатстве Сан-Годенцо, в долине Мужделло, где, после долгих совещаний, постановили образовать военный лагерь в Ареццо, чтобы начать с помощью могущественной лиги Тосканских Гибеллинов и под предводительством графа Алессандро да Ромена поход на Флоренцию. Данте, присутствовавший на собрании, назначен был одним из двенадцати Советников этого военного Союза или заговора.

Первый летний поход 1302 года не удался: флорентийцы, очень хорошо подготовленные к нападению Белых, отразили их с легкостью, как бы играя. Так же не удался и второй, весенний поход 1303 года, кончившийся разгромом Белых, в бою под Кастель Пуличиано (Castel Pulicciano). Так, от надежды к надежде, от отчаяния к отчаянию, дело шло до 30 июля 1304 года, когда Гибеллины, не только из Ареццо, но также из Пистойи и Болоньи, присоединившиеся к флорентийским изгнанникам, потерпели жесточайшее поражение под Ластрою[4].

Хуже всего было то, что, по неизменному обычаю всех изгнанников, эти, озлобленные несчастьем люди перессорились и возненавидели друг друга, как сваленные в кучу на гнилую больничную солому раненые, которые каждым движением причиняют друг другу, сначала нечаянно, а потом и нарочно, нестерпимую боль.

Главной жертвой этой глупой и жалкой ненависти сделался Данте. Видя, что оружием ничего не возьмешь и надеясь больше на мирные переговоры, начатые кардиналом да Прато, он мудро посоветовал не начинать третьего похода, предсказывая, что он кончится бедою; а когда предсказание это исполнилось, то все восстали на него с таким ожесточением, как будто главным виновником беды был он, зловещий пророк. В «подлой трусости» обвиняли его, а может быть, и в предательстве[5].

И будет для тебя еще тяжеле
Сообщество тех злых и низких душ,
С которыми разделишь ты изгнанье...
Неблагодарные, безумные, слепые,
Они восстанут на тебя, но вскоре
Придется им краснеть, а не тебе,
Когда их зверство так себя покажет,
Что будет для тебя великой честью,
Что ты в борьбе один был против всех[6].

Но если тогда еще Данте не знал, что узнает потом, что значит быть полководцем без войска; поймет, что не только «великая честь», но и великое несчастье оказаться между двумя огнями, двумя враждующими станами, одному против всех.

Те и другие захотят тебя пожрать,
Но будет далека трава от клюва[7] —

глупых гусей – Белых и Черных. Смысл этого загадочного пророчества, кажется, тот, что братья Данте по несчастью, флорентийские изгнанники, возненавидят его так, что захотят убить, и он должен будет спастись от них бегством, – как бы вторым изгнанием, горше первого[8].

В 1304 году Данте бежал в Верону, где милостиво принял его герцог Бартоломео дэлла Скала, тот «великий Ломбардец», на чьем щите была изображена, «святою Птицею», римским Орлом, гибеллиновским знаменьем, венчанная лестница, scala; от нее и родовое имя: Скалиджери (Scaligeri), «Лествиничники»[9].

Если верить свидетельству Бруни, Данте, находясь в Вероне, «старался... добрыми делами... умилостивить флорентийских правителей, чтобы они позволили ему вернуться на родину; много писем писал он об этом не только отдельным гражданам, но и народу». Молить прощения у тех, кто предал вечному позору имя его, как «вора, лихоимца и вымогателя». Какие нужны были муки, чтобы так смирить гордого Данте, или, по страшному слову Бруни, чтобы «сделался он весь одним смирением». Лучше всего выражают эту тягчайшую муку изгнания, воспоминаемые Бруни, слова Данте, несомненно подлинные, которыми начинается одно из этих писем: «О, народ мой, что я тебе сделал? Populе mee, quid feci tibi?»[10]

Краток был отдых в Вероне, – может быть, потому, что добрый герцог Бартоломео скончался в марте 1304 года[11]. Данте, впрочем, подолгу нигде не заживается: точно Каиновым проклятием гонимый, не может остановиться, бежит все дальше и дальше, пока не упадет в могилу. «В поисках высшего блага душа человеческая подобна страннику, идущему по неизвестной дороге: всякий дом кажется ему гостиницей; но, увидев, что это не так, идет он все дальше и дальше, от дома к дому, пока не найдет себе последнего (в могиле) убежища, – скажет сам Данте-изгнанник[12].

После Вероны начинаются его бесконечные скитания. Где он был и что с ним было, мы не знаем с точностью. Как утопающий в море пловец то исчезает в волнах, то вновь появляется, – так и он. Только что луч исторической памяти скользнет по лицу его, как уже потухает, и оно погружается опять во мрак.

Те и другие захотят тебя пожрать, —

даже это зловещее пророчество не исполнится: теми и другими он презрен и забыт одинаково.

Где был он и что с ним было, мы не знаем, но знаем, что ступени каждой новой чужой лестницы все круче для него; каждый новый кусок чужого хлеба все солонее, горше соленой горечью слез.

В темные воды Леты нырнул он после Вероны, а вынырнул года через два, при дворе великолепного маркиза Франческино Маласпина, в Луниджиане. Кажется, одна из двух, полным светом истории освещенных точек, в первой половине изгнаннической жизни Данте, – 9 часов утра, 6 октября 1306 года, когда полномочный посол, прокуратор и нунций маркиза Маласпина, Данте Алигьери, торжественно подписывает, в присутствии нотариуса, мирный договор с епископом Лунийским, – конец долгой и жестокой войны его с владетельным родом Маласпина. Это происходит близ того самого скверного городишки Сарцаны, в Лунийской Маремме, где шесть лет тому назад смертельно заболел болотной лихорадкой сосланный туда по настоянию Данте «первый друг» его, Гвидо Кавальканти. «Кровь его на тебе», – это сказанное Вечным Голосом услышал ли Данте вновь?[13]

Вторая из этих двух исторически освещенных точек – пребывание Данте, в том же, 1306-м, или в следующем году, в Болонье, где снова садится он, в сорок два года, на школь-

ную скамью, в тамошнем Университете, неутомимо-жадно учится и начинает писать огромную схоластическую книгу «Пир», которой никогда не суждено ему было кончить[14].

Следующие три-четыре года, от 1307-го до 1311-го – самые для нас темные в изгнании Данте[15]: как бы с лица земли исчезает он, проваливается сквозь землю. Если бы за эти годы он умер, никто не узнал бы, где, когда и отчего.

Кратко, смутно и в неверном историческом порядке, вспоминает пути Дантова изгнания Боккачио: Верона, Казентино, Луниджиана, Урбино, Болонья, Падуя, опять Верона и, наконец, Париж. – «Видя, что все пути в отечество закрыты для него и что надежда на возвращение с каждым днем становится тщетнее, он покинул не только Тоскану, но и всю Италию, перевалил за Альпы и... кое-как добрался до Парижа, где весь предался наукам... стараясь нагнать упущенное за годы скитаний»[16]. Был ли, действительно, Данте в Париже, слушал ли, в тамошнем Университете, в Сенном переулке[17], сидя с прочими школярами на куче соломы, великого схоластика, Сигьера Брабантского, – мы не знаем. Но если это маловероятно, то еще невероятнее пребывание Данте в Англии, о котором упоминает Боккачио, в латинском послании к Петрарке:

...Фебовой силой влекомый,
Он до Парижа дошел; был и у Бриттов далеких[18].

Первый жизнеописатель Данте, его современник, Джиованни Виллани, вспоминает о его скитаниях еще короче и сбивчивее: «Изгнанный из Флоренции... отправился он в Болонский университет, а оттуда в Париж и во многие другие страны мира»[19].

Так скитается по миру призрак Данте, вечного изгнанника, словно тень Агасфера или Каина.

Лучше всего вспоминает об этих скитаниях он сам: «После того, как угодно было гражданам славнейшей и прекраснейшей дочери Рима, Флоренции, изгнать меня оттуда, где я родился и был вскормлен до середины дней моих, и куда... всею душою хотел бы вернуться, чтобы найти покой усталому сердцу и кончить назначенный срок жизни, – после того, скитался я почти по всей Италии, бездомный и нищий, показывая против воли те раны судьбы, в которых люди часто обвиняют самих раненых. Был я воистину ладьей без кормила и паруса, носимой по всем морям и пристаням иссушающею бурею бедности. И многие из тех, кто, может быть, судя по молве, считали меня иным, – презирали не только меня самого, но и все, что я уже сделал и мог бы еще сделать»[20].

В эти дни Данте понял, вероятно, что казнь изгнания – казнь наготы: выброшены, в лютую стужу, голые люди на голую землю, или, вернее, голые души: тело тает на них, как тело призраков, и сами они блуждают среди живых, как призраки. Понял Данте, что быть изгнанником – значит быть такой живой тенью, более жалкой, чем тени мертвых: этих люди боятся, а тех презирают. Хуже каиновой печать на челе их: «знамение положил Господь Бог на Каина, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4, 15); такого знамения не было на челе Данте-изгнанника: первый встречный мог убить его, потому что он был человек «вне закона».

Понял, может быть, Данте, что изгнание – страшная, гнусная, проказе подобная, болезнь: сила за силой, разрушаясь, отпадает от души, как член за членом – от тела прокаженного; бедностью, несчастьем, унижением пахнет от изгнанников, как тленом проказы; и так же, как здоровые бегут от прокаженных – счастливые, имеющие родину, бегут от несчастных изгнанников.

Родина для человека, как тело для души. Сколько бы тяжело больной ни ненавидел и ни проклинал тела своего, как терзающего орудия пытки, избавиться от него, пока жив, он не может; тело липнет к душе, как отравленная одежда Нисса липнет к телу. «Сколько

бы я ни ненавидел ее, она моя, и я – ее» – это должен был чувствовать Данте, проклиная и ненавидя Флоренцию.

Произращен твой город тем, кто первый
Восстал на Бога, —

диаволом. Город Флоренция – «диаволов злак», а цветок на нем – Флорентийская Лилия – чекан тех золотых флоринов, что «делают из пастырей Церкви волков», щенят «древней Волчицы», проклятой Собственности – Алчности[21].

Главная мука в ненависти Данте к Флоренции – вопрос всей жизни его, как и жизни св. Франциска Ассизского, – о проклятой собственности и благословенной «общности имения»: то, что мы называем «проблемой социального неравенства».

Ликуй, Флоренция, твоя летает слава,
По всем морям и землям, так далеко,
Что, наконец, дна адова достигла[22], —

злорадствует Данте, терзая душу и тело родины – свое же собственное тело и душу.

Чуть не с каждым шагом по кругам Ада, по уступам Святой Горы Чистилища и по звездным сферам Небес, вспоминает он и проклинает Флоренцию. Ненависть его к ней так неутолима, что и в высшей из небесных сфер, пред Лицом Неизреченного, он все еще помнит ее, ненавистную – любимую, мачеху – мать.

От временного к вечному придя,
От города Флоренции – ко граду Божью,
Каким я изумленьем несказанным
Был поражен![23]

Но, чем больше ненавидит ее, тем больше любит. Главная мука изгнанья – вечная мука ада – эта извращенная любовь-ненависть изгнанников к родине, проклятых детей – к проклявшей их матери.

«Мир для нас отечество, как море для рыб... Но, хотя из-за любви к отечеству мы терпим несправедливое изгнание... все же нет для нас места на земле любезнее Флоренции»[24]. – «О, бедная, бедная моя отчизна! Какая жалость терзает мне сердце каждый раз, как я читаю или пишу о делах правления!»[25]

Ступай теперь, Тосканец: об отчизне
Мне так стеснила сердце скорбь, что больше
Я говорить не буду, – лучше молча плакать[26], —

говорит Данте-изгнаннику, в Чистилище, тень Гвидо дэль Дука.

О ты, земли Тосканской обитатель...
Мне звук твоих речей напоминает
О той моей отчизне благородной,
Которой, может быть, я в тягость был[27], —

говорит ему флорентинец Фарината, в Аду. Тени, в загробном мире, продолжают любить родную землю, как будто она для них все еще действительнее, чем рай и ад.

Данте, наяву, слепнет от ненависти, не видит отечества, – но видит его во сне. «Больше всех людей я жалею тех несчастных, кто, томясь в изгнании, видит отечество свое только во сне»[28]. Ожесточен и горд наяву, а во сне плачет, как маленький прибитый мальчик: «О, народ мой, что я тебе сделал?» Тихие слезы льются по лицу; вся душа, исходя этими слезами, истаивает, как вешний снег – от солнца.

Жизнь Данте в изгнании – смерть от этой страшной, извращенной любви-ненависти к отечеству.

Я смерть мою прощаю той,
Кто жалости ко мне не знала никогда, —

мог бы он сказать и Флоренции, как сказал Беатриче.

Знает, что никогда не будет прощен, а все-таки ждет, молит прощения, и будет молить до конца:

Я знаю: смерть уже стоит в дверях;
И если в чем-нибудь я был виновен,
То уже давно искуплена вина...
И мир давно бы дать могли мне люди,
Когда бы знали то, что знает мудрый, —
Что большая из всех побед – прощать[29].

Но этого люди не знают и никогда не простят того, кто слишком на них не похож, как волки не прощают льву, что он – лев, а не волк.

Данте – изгнанник. Данте – нищий.

Стыд заглушив, он руку протянул...
Но каждая в нем жилка трепетала[30], —

это скажет он о другом, но мог бы сказать и о себе, да и говорит, хотя иными словами, в 1304 году: «Бедность внезапная, причиненная изгнанием... загнала меня, бесконного, безоружного, как хищная Звериха, в логово свое, где я изо всех сил с нею борюсь, но все еще, лютая, держит она меня в когтях своих»[31].

Прежде, в отечестве, когда делал долги, только концами зубов покусывала, как бы играючи, а теперь всеми зубами впилась, вонзила их до крови.

Данте знает, конечно, что есть две Бедности: «Прекрасная Дама», gentile Donna, св. Франциска Ассизского, «супруга Христова», та, что «взошла с Ним на крест, когда Мария осталась у подножия Креста», – и другая, «хищная Звериха», «древняя Волчица»: грешная бедность – волчья жадность, волчья зависть. «Холодно-холодно! Голодно-голодно!» – воет она, и этой страшной гостье «никто не открывает дверей охотно, так же как смерти»[32]. Знает Данте и то, что от внутренней силы каждого зависит сделать для себя бедность благословением или проклятием, славой или позором; победить ее или быть побежденным.

«Блаженны нищие, ибо их есть царство небесное» – это легко понять со стороны, для других; а для себя – трудно; чтобы это понять и сделать (а не сделав, не поймешь), надо быть больше, чем героем, – надо быть святым. Как приняли бы и вынесли бедность даже такие герои, как Александр Великий и Цезарь, еще большой вопрос. Данте был героем, может быть, в своем роде, не меньшим, чем Александр и Цезарь, но не был святым. Самое тяжкое для него в бедности то, что он побежден ею внутренне, унижен перед самим собой больше, чем перед людьми. Медленно растущим гнетом бедности раздавливается, расплю-

щивается душа человека, как гидравлическим молотом. В мелких заботах бедности даже великое сердце умаляется, крошится, как ржавое железо или выветрившийся камень.

Чувство внутреннего бессилия, измены и лжи перед самим собою, – вот что для Данте самое тяжкое в бедности. Благословляет бедность в других, а когда дело доходит до него самого, проклинает ее и запирает от нее двери, как от смерти. В мыслях, «древняя Волчица» есть, для него, проклятая Собственность, Богатство; а в жизни, – Бедность. Одно говорит, а делает другое; думает по-одному, а живет по-другому. И если чувствует, – что очень вероятно, – это противоречие, то не может не испытывать тягчайшей муки грешной бедности – *самопрезрения.*

* * *

Судя по тогдашним нравам нищих поэтов, Данте, может быть не слишком усердствует, когда, стараясь отблагодарить своих покровителей за бывшие подачки и расщедрить на будущие, славит в «Чистилище» кошелек великолепного маркиза Маласпина, более щедрый для других, чем для него[33]; или когда, в «Раю», прапрадед Качьягвидо обнадеживает его насчет неслыханной щедрости герцога Веронского:

Жди от него себе благодеяний,
Затем, что судьбы многих, в скорбном мире,
Изменит он, обогащая нищих[34].

Данте мог презирать такие клеветы врагов своих, как бранный сонет, в котором один из тогдашних плохих стихотворцев кидает его, за «низкую лесть», в его же собственный Ад, в зловонную «яму льстецов»[35]; но бывали, вероятно, минуты, когда он и самому себе казался немногим лучше «льстеца», «приживальщика», «прихлебателя».

Слишком хорошо знал он цену своим благодетелям, чтобы каждый выкинутый ими кусок не останавливался у него поперек горла и чтобы не глотал он его с горчайшими слезами стыда.

Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала.

Низко кланяется, гнет спину, «выпрашивая хлеб свой по крохам»[36], – и вдруг возмущается: «Много есть государей такой ослиной породы, что они приказывают противоположное тому, чего хотят, или хотят, чтобы их без приказаний слушались... Это не люди, а звери»[37]. – «О, низкие и презренные, грабящие вдов и сирот, чтобы задавать пиры... носить великолепные одежды и строить дворцы... думаете ли вы, что это щедрость? Нет, это все равно что красть покров с алтаря и, сделав из него скатерть, приглашать к столу гостей... думая, что те ничего о вашем воровстве не знают»[38].

О, сколько есть таких, что мнят себя
Великими царями
Там, на земле, и будут
Валяться здесь, в аду, как свиньи в грязной луже,
Презренную оставив память в мире![39]

«Властвовать над людьми должен тот, кто их всех превосходит умом», – вспоминая эти слова Аристотеля, Данте думает, конечно, о себе[40].

Кажется, именно в бедности, узнав, по собственному опыту, за что восстают бедные на богатых: «тощий» народ на «жирный», Данте почувствовал, один из первых, грозную возможность того, что мы называем «социальной революцией», «проблемой социального неравенства».

Против человеческой низости было у него страшное оружие – обличительное слово, которым выжигал он на лице ее, как железом, докрасна раскаленным на огне ада, или как брызнутой в лицо серной кислотой, – неизгладимое клеймо. Но оружие это двуострое: оно обращается иногда и на него самого. «Данте, муж, во всем остальном, превосходный, только одним врожденным недостатком был в тягость всем, – сообщает поздний, XVI века, свидетель, передавая более раннее, может быть, от современников Данте идущее, предание или воспоминание. – Часто предавался он яростному гневу до безумия и, не думая о том, сколь великим опасностям подвергают себя оскорбители сильных мира сего, слишком свободным языком своим оскорблял их безмерно»[41].

Кажется, сам Данте чувствовал в себе этот «врожденный недостаток» и, в спокойные минуты, боролся с ним:

Я вижу, надо быть мне осторожным,
Чтоб, родины возлюбленной лишась,
Не потерять и остальных убежищ.
Я в людях то узнал, что может дать
Моим стихам, для многих, вкус горчайший[42].

Слишком хорошо знает он, что неосторожная правда, в устах нищего, – для него голодная смерть, или то, что произошло с ним, – если верить тому же позднему, по вероятному свидетельству, – в 1311 году, в Генуе, где слуги вельможи Бранка д'Ориа (Branca d'Oria), оскорбленного стихами Данте, подстерегши его на улице, избили кулаками или палками[43]. Все равно, было это или не было: это могло быть. И Данте знал, что могло, что множество глупцов и негодяев вздохнуло бы с облегчением, узнав, что человек, у которого всегда было наготове каленое железо и серная кислота для их бесстыдных лбов, умер или убит, как собака.

Люди довольно легко прощают своим ближним преступления, подлости, даже глупости (их прощают, пожалуй, всего труднее) – под одним условием: *будь похож на всех*. Но горе тому, кем условие это нарушено и кто ни на кого не похож. Люди заклюют его, как гуси попавшего на птичий двор умирающего лебедя или как петухи – раненого орла. Данте, среди людей, такой заклеванный лебедь или орел. Жалко и страшно видеть, как летят белые, окровавленные перья лебедя под гогочущими клювами гусей; или черные, орлиные, – под петушиными клювами. Данте, живому, люди не могли простить – и все еще не могут простить – бессмертному, того, что он так не похож на них; что он для них такое не страшное и даже не смешное, а только скучное чудовище.

Может быть, он и сам не знал иногда, чудо ли он или чудовище; но бывали и такие минуты, когда он вдруг видел во всех муках изгнания своего, нищеты и позора – чудо Божественного Промысла; и слышал тот же таинственно зовущий голос, который услышит, проходя через огненную реку Чистилища:

Здесь нет иных путей, как через пламя...
Между тобой и Беатриче – только эта
Стена огня. Войди же в него, не бойся! Вот
Уже глаза, ее глаза я вижу!

Может быть, Данте чувствовал, в такие минуты, свою бесконечно растущую в муках силу.

Неколебимым чувствую себя
Четырехгранником, под всеми
Ударами судьбы[44].

Что дает ему эту силу, он и сам еще не знает; но чувствует, что победит ею все.

Восстань и помни, что душа твоя,
Во всех бореньях, может победить[45].

Когда вспоминает он о другом нищем изгнаннике, то думает и о себе:

О, если б мир узнал, с каким великим сердцем
Выпрашивал он хлеб свой по крохам,
То, славя, больше бы еще его прославил![46]

Купит грядущую славу только настоящим позором – это он узнает из беседы в Раю с великим прапрадедом своим, Качьягвидо:

«...Боюсь, что, если буду
Я боязливым другом правды в песнях,
То потеряю славу в тех веках,
Которым наше время
Казаться будет древним». – Воссиял
Прапрадед мой, как солнце, и в ответ
Сказал мне так: «Чья совесть почернела,
Тот режущую силу слов твоих
Почувствует; но презирая ложь,
Скажи бесстрашно людям все, что знаешь...
...Твои слова
Сначала будут горьки, но потом
Для многих сделаются хлебом жизни,
И песнь твоя, как буря, поколеблет
Вершины высочайших гор,
Что будет славой для тебя немалой»[47].

Песнь о Трех Дамах, сложенная, вероятно, в первые годы изгнания, лучше всего выражает то, что Данте чувствовал в такие минуты. Жесткую, сухую, геральдическую живопись родословных щитов напоминает эта аллегория. Трудно живому чувству пробиться сквозь нее, но чем труднее, тем живее и трогательнее это чувство, когда оно наконец пробивается.

К богу Любви, живущему в сердце поэта, приходят Три Дамы (и здесь, как везде, всегда, число для Данте святейшее – Три): Умеренность, Щедрость, Праведность. Temperanza, Largezza, Drittura. Может быть, первая – Святая Бедность, Прекрасная Дама, св. Франциску известная; вторая – святая Собственность, ему неизвестная; а третья – неизвестнейшая и прекраснейшая, соединяющая красоту первой и второй в высшей гармонии, – будущая Праведность. «Ждем, по обетованию Его, нового неба и новой земли, где обитает Правда» (II Петр. 3, 13). Или, говоря на языке «Калабрийского аббата Иоахима, одаренного духом про-

роческим»[48]: святая Щедрость – в Отце, святая Бедность – в Сыне, а третья – Безымянная, людям еще неизвестная, святость – в Духе. Если так, то и это видение Данте относится все к тому же вечному для него вопросу о том, что Евангелие называет так глубоко «Умножением – Разделением хлебов», а мы так плоско – «социальной революцией», «проблемой социального неравенства».

Три Дамы к сердцу моему пришли...
Как к дому друга, зная,
Что в нем живет Любовь...
И на руку одна из них склонила, плача,
Лицо свое, как сломанная роза...
И жалкую увидев наготу
Сквозь дыры нищенских одежд, Любовь
Ее спросила: «Кто ты, и о чем
Так горько плачешь?»
«Мы, нищие, бездомные, босые,
Пришли к тебе, – ответила она. —
Я – самая несчастная их трех;
Я – Праведность, сестра твоя родная...»
Ответ Любви был вздохами замедлен,
Потом, очами, полными надежды,
Приветствуя изгнанниц безутешных,
Она схватила в руки два копья
И так сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь! Вот оружье наше;
От ветхости заржавело оно.
Умеренность, и Щедрость, и другая
От нашей крови, – нищенствуя, в мире
Скитаются. Но, если это – зло,
То пусть о нем рожденные во зле,
Под властью рока, люди плачут, —
Не мы, чей род – от вечного гранита.
Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»
И, слушая тех царственных изгнанниц,
Как плакали они и утешались,
В божественной беседе, я впервые
Изгнание мое благословил.
Пусть жалкий суд людей иль сила рока
Цвет белый черным делает для мира, —
Пасть с добрыми в бою хвалы достойно[49].

Два сокровища находит нищий Данте в изгнании; первое – итальянский «народный язык», vulgare eloquium. В Церкви и в государстве все говорили тогда на чужом и мертвом латинском языке, а родной и живой, итальянский, – презирали, как «низкий» и «варварский», Данте первый понял, что будущее – за народным языком, и усыновил этого пасынка, обогатил нищего, венчал раба на царство. Если тело народной души – язык, то можно сказать, что Данте дал тело душе итальянского народа, как бы снова создал его, родил; и знал вели-

чие того, что делает: «больше всех царей и сильных мира сего будет тот, кто овладеет... царственным народным языком»[50].

Второе сокровище нищего Данте – «Божественная комедия». Начал он писать ее, вероятно, еще во Флоренции, между 1300-м и 1302 годом, но потом, в изгнании, вынужден был оставить начатый труд[51]. Через пять лет, в 1307 году, по свидетельству Боккачио, флорентийские друзья Данте прислали ему рукопись первых семи песен «Ада», найденную ими случайно в сундуке с домашней рухлядью. «Я думал, что рукопись моя погибла вместе с остальным разграбленным моим имуществом, – сказал будто бы Данте. – Но так как Богу было угодно, чтобы она уцелела и вернулась ко мне, я сделаю все, что могу, чтобы продолжить и кончить мой труд»[52].

С этого дня «Святая Поэма», sacra poema, сделалась верной спутницей его на всех путях изгнания.

В явно подложном «письме брата Илария» о встрече с Данте в горной обители Санта-Кроче-дель-Корво есть одно подлинное свидетельство: рукопись «Комедии» всегда была при нем, в его дорожной суме[53]. Всякий лихой человек (а таких было тогда, на больших дорогах, множество) мог его убить и ограбить безнаказанно, по приговору Флорентийской Коммуны; а сделав это, мог, в досаде, что ничем не удалось поживиться от нищего, – развеять по ветру или втоптать в грязь найденные листки «Комедии». Думая об этом, Данте испытывал, вероятно, то же, что тогда, когда слуги оскорбленного вельможи «ослиной породы» били его, на улице, палками. Но, может быть, он чувствовал, что такой позор человеческий нужен ему, чтобы поэма его, «Комедия» (он сам дал ей это имя) могла сделаться «Божественной», как назовут ее люди.

Муки изгнания и нищеты были нужны ему, чтобы узнать не только грешную слабость свою, в настоящем, но и святую силу, в будущем; или хотя бы сделать первый шаг к этой новой святости, неведомой св. Франциску Ассизскому и никому из святых.

Когда говорил Данте бог Любви:

Наш род – от вечного гранита,
Noi, che semo dell'eterna rocca, —

и когда благословлял он изгнание свое, – он знал, что ему позавидуют некогда лучшие люди в мире.

О если б я был им! С такою силой духа,
Как у него, – за горькое изгнанье,
За все его бесчисленные муки,
Я отдал бы счастливейший удел! —

скажет великий о величайшем, Микель Анжело – о Данте[54].

Вот почему тебя я надо всеми
Короною и митрою венчаю[], —

скажет Виргилий, на вершине «святой горы Очищения»: Данте будет увенчан короною, выше всех царей, и митрою – выше всех пап – это он знал наверное. Вот каким сокровищем владел он, в нищете, и какою славою – в позоре.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное (Мт. 5, 10).

Всех изгнанных за правду, бездомных и нищих скитальцев, всех презренных людьми и отверженных, всех настоящего Града не имеющих и грядущего Града ищущих вечный покровитель – Данте-Изгнанник.

XV
ДАНТЕ И КЕСАРЬ

В 1308 году избран был в императоры Священной Римской Империи, под именем Генриха VII, маленький германский владетельный граф, Генрих Люксембургский. В следующем году послы его, прибыв в Авиньон, ко двору папы Климента V, возвестили ему, что государь их желает принять корону Кесаря из рук Его Святейшества, в Риме. Папа согласился на это и объявил нового императора в торжественной энциклике Exultat in gloria[1] избранником Божиим, посланным для того, чтобы установить мир всего мира[2].

«Генрих был человек великого сердца... мудрый, благочестивый... и праведный; был доблестный воин», – вспоминает летописец, Дж. Виллани[3], – «Богу Всемогущему угодно было пришествие Генриха в Италию для того, чтобы совершилась в ней казнь всех тиранов... и чтобы самовластие их было навсегда уничтожено», – вспоминает и другой летописец, Дино Кампаньи[4]. Вот почему, по свидетельству Виллани, «не только западные, но и восточные христиане, и даже неверные следили за походом Генриха с таким вниманием, что можно сказать: не было в те дни события, равного этому»[5].

Мир, затаив дыхание, ждал от нового императора, «посланника Божия», торжества человеческой совести там, где она всегда бывает поругана больше всего – в делах государственных. «Скажет праведник: есть Бог, судящий *на земле*» (Пс. 57, 12), – на это надеялись от Генриха все лучшие люди; но, может быть, никто не надеялся так, как Данте.

О, Господи, когда же, наконец,
Увижу я Твое святое мщенье?[6]

На этот вопрос его как будто отвечал ему мститель Божий, император Генрих: «Сейчас увидишь».

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко... ибо видели очи мои спасение Твое (Лк. 2, 29—30), —

мог бы сказать Данте, вместе с другом своим, поэтом Чино да Пистойя[7].

В эти дни Данте испытывал, может быть, чувство, подобное тому, какое испытает, выйдя из Ада, «чтоб вновь увидеть звезды»[8].

Когда из мертвенного воздуха я вышел,
печалившего сердце мне и очи,
то усладил их, разлитой по небу
прозрачному до высшей сферы звезд,
нежнейший свет восточного сапфира[9].

В 1311 году, в самом начале похода, пишет он такое же торжественное послание «ко всем государям земли», как двадцать лет назад, по смерти Беатриче. Но то было вестью великой скорби, а это – великой радости.

«Всем государям Италии... Данте Алагерий, флорентийский невинный изгнанник... Ныне солнце восходит над миром... Ныне все алчущие и жаждущие правды насытятся... Радуйся же, Италия несчастная... ибо жених твой грядет... Генрих, Божественный Август и Кесарь... Слезы твои осуши... близок твой избавитель»[10].

Может быть, казалось Данте, что в эти дни готово исполниться услышанное им в видении пророчество бога Любви тем трем Прекрасным Дамам, таким же, как он, нищим и презренным людьми, вечным изгнанницам:

Любовь сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь: вот оружье наше...
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»

Слишком настрадавшиеся люди легко обманываются ложными надеждами: так обманулся и Данте надеждой на Генриха; принял мечту за действительность, облака – за горы, марево воды – за настоящую воду.

Генрих и Данте близки друг другу хотя и очень глубокою, но не последнею близостью. Та же у обоих «прямота», drittura, по слову Данте, – как бы одна, идущая от души человеческой к миру и к Богу, геометрически прямая линия правды, противоположная всем кривым линиям лжи. Оба – «люди доброй воли», – те, о ком Ангелы пели над колыбелью Спасителя:

Мир на земле, в людях доброй воли.
Pax in hominibus bonae voluntatis.

Оба – высокие жертвы человеческой низости. Главная же близость их, может быть, в том, что оба – люди не своего времени. Но здесь начинается и то, что их разделяет: Данте – человек далекого будущего, а Генрих – близкого прошлого; тот родился на тридцать-сорок веков раньше, а этот – на три-четыре века позже, чем следует. Римская Священная Империя Генриха отделена от Монархии Данте тем же, чем прошлое отделено от будущего, и непохороненный покойник – от нерожденного младенца.

Генрих, «человек великого сердца», почти святой, отдает жизнь свою за обреченное дело, потому что, после Фридриха II Барбароссы, самая идея Священной Римской Империи почти погасла в умах. В 1264 году, за год до рождения Данте, когда «белокурый красавец» Манфред Гогенштауфен пал в бою под Беневентом, сражаясь с королем Карлом Анжуйским, – Священная Римская Империя кончилась[11]. Мир шел, может быть, роковым для него и пагубным, но исторически неизбежным, путем, от всемирного бытия к народному, или, как мы говорим, «национальному», – от насильственного единства к свободному множеству и разделению народов.

Если Генрих – еще не Дон Кихот, то уже один из последних рыцарей и первых романтиков. Вечный спутник их, демон отвлеченности, искажает все его дела, или поражает их бесплодием. С лучшими намерениями делает он зло: желая восстановить порядок в занятых им областях Италии, только увеличивает хаос; сеет мир и пожинает войну.

Осенью 1310 года, спустившись с Альп в Ломбардию, с маленьким пятитысячным войском, новый император, в победоносном шествии, идет из города в город, «всюду устанавливая мир, как Ангел Божий», – вспоминает Дино Кампаньи[12]. – В день Богоявления, 6 января 1311 года, Генрих венчается в Милане железной короной ломбардских королей.

Данте видел Генриха, вероятно, в январе 1311 года, в Милане, вскоре после венчания. Царственного не было ничего в наружности этого сорокалетнего человека, небольшого роста, с голым черепом, с тихим, простым и печальным лицом. Легкая косина одного глаза

придавала ему иногда, как это часто бывает при косине, выражение беспокойное и тягостное, почти зловещее; точно искажавший все дела его, насмешливый «демон отвлеченности» исказил и лицо его: «прямое сердце – косое око»[13].

Данте, по обычаю всех допущенных пред лицом императора, стоя на коленях и низко опустив лицо к ступеням трона, обнял и поцеловал ноги «Святейшего Августа». Дважды целовал он ноги человеку: в первый раз тому, кого больше всех ненавидел, – папе Бонифацию VIII; во второй – тому, кого, после Беатриче, больше всех любил, – императору Генриху; двум носителям высших властей, небесной и земной.

Кажется, в письме Данте к императору, писанном в том же году, месяца через два, есть намек на то, что он чувствовал при этом целовании: «Видел я и слышал тебя, Всемилостивейший... и обнимал ноги твои, и уста мои исполнили свой долг. И возрадовался дух мой, и сказал я себе: „Вот Агнец Божий, взявший на себя грех мира“[14].

Лестью и кощунством могли бы казаться эти слова в устах всякого человека, кроме Данте, потому что никто не способен был меньше, чем он, к лести и кощунству. Что же они значат? Кажется, он хочет и не может выразить в них то, что тогда почувствовал в Генрихе, увидев, как бы в мгновенном прозрении, всю его грядущую судьбу – не золотым венцом венчаться в победе, а терновым – в страдании; быть обреченной на заклание жертвой – одним из многих агнцев Божиих, идущих за Единственным. И это увидев, он полюбил его еще больше, потому что в его судьбе узнал свою.

Данте узнал Генриха, но тот не узнал его, самого близкого и нужного ему человека, единственного в мире, который понял его и полюбил.

Слишком чист был сердцем Генрих для такого нечистого дела, как политика. В самом начале похода делает он роковую ошибку. Множество изгнанников, большей частью Гибеллинов, приверженцев императорской власти, изгнанных ее врагами, Гвельфами, и собравшихся из всех городов Верхней Италии, ищет в нем опоры и защиты, но не находит: он объявляет торжественно, что не хочет знать ни Гибеллинов, ни Гвельфов, потому что пришел в Италию не для вражды, а для мира. Но этого не поняли ни те, ни другие. Вместо того чтоб их примирить, он только ожесточил их друг против друга и восстановил против себя; Гвельфы считают его Гибеллином, а Гибеллины – Гвельфом. Стоя между двух огней, он топчет их оба, но не гасит; старую болезнь итальянских междоусобий загоняет внутрь, но не лечит; делается пастухом волчьего стада, не предвидя, что волки съедят пастуха.

После первой ошибки делает вторую, большую: насильственно возвращает Гибеллинов-изгнанников в те города, откуда они были изгнаны. Но, только что вернувшись на родину и чувствуя себя победителями, мстят они врагам своим, Гвельфам, так же беспощадно изгоняя их, как сами были ими некогда изгнаны[15]. И тотчас же по всей Верхней Италии вспыхивают бунты против императора. Две сильнейших крепости, Кремона и Брешия, запирают перед ним ворота. В медленных осадах проходят месяцы, и Генрих, в этой истощающей и бесславной Ломбардской войне, увязает, как в болоте[16]. А между тем злейший и опаснейший враг его, Флоренция, вооружается, приобретает союзников и подкупами, не жалея денег, разжигает все новые бунты.

В эти дни Данте прибыл в Тоскану, к источникам Арно, может быть, для того, чтобы ближе быть к Флоренции, куда надеялся, со дня на день, вернуться. Видя опасность, грозящую Генриху, он остерегает его письмом. Смысл этого темнейшего, писанного на плохом латинском языке и школьною ученостью загроможденного послания таков: «Что ты медлишь в Ломбардии? Или не знаешь, что корень зла не там, а здесь, в Тоскане? Имя его – Флоренция. Вот ехидна, пожирающая внутренности матери своей, Италии. Только раздавив ее, победишь, – спасешь себя и нас»[17].

Это послание написано 16 апреля 1311 года, а за две недели до него, 31 марта, – другое: «Данте Алагерий, флорентинец, изгнанный невинно, – флорентийцам негоднейшим, живу-

щим на родине... Как же вы, преступая все законы Божеские и человеческие, не страшитесь вечной погибели?.. Или вы еще надеетесь на жалкие стены ваши и рвы?.. Но к чему они послужат вам... когда налетит на вас ужасный... все моря и земли облетающий, Орел?.. Город ваш будет опустошен мечом и огнем... ваши невинные дети искупят грех отцов своих... И если не обманывает меня подтверждаемое многими знаками предвидение, то, после того как большинство из вас падет от меча... немногие, оставшиеся в живых, изгнанники... увидят отечество свое, преданное в руки чужеземцев»[18].

«Рога нашего ни перед кем не опустим», – этими гордыми словами могла бы ответить Флоренция самому гордому из сынов своих, Данте, так же, как отвечала всем своим тогдашним врагам[19]. Главную силу в поединке с Генрихом дает ей то, что против старого, уже никому не нужного и никого не чарующего знамени всемирности подымает она нужное и всех чарующее знамя отечества. «Помните, братья, что Германец (Генрих) хочет нас погубить, – пишут флорентийцы в воззвании к своим ломбардским союзникам, восставшим на императора. – Помните, какое чуждое нам по языку и крови, ненавистное племя ведет он с собой на Италию, и каково нам будет жить под игом этих варваров! Укрепите же сердца ваши и руки на защиту самого дорогого, что есть у нас в мире, – свободы!»[20]

Вот в чем сила Флоренции – в восстании против чужеземного ига за свободу отечества. Люди слышат: «Римская Священная Империя», – и сердца их остаются холодными; слышат: «Отечество», – и сердца их горят. «Долой чужеземцев! Fuori lo straniero!» – этот клич, которому суждено было сделаться голосом веков и народов – началом всемирной войны, – впервые прозвучал тогда, в Милане. Понял ли Данте страшный смысл его и если понял, то повторил ли бы его, даже ради спасения отечества?

Близкое прошлое – за Генрихом, далекое будущее – за Данте, а ближайшее настоящее – за Флоренцией. Те оба реют где-то в облаках, а эта твердо стоит на земле; у тех – мечта, а у этой – действительность. И сколько веков пройдет, прежде чем люди поймут, что Данте был все-таки прав и что воля его ко всемирности выше, чем воля врагов его к отечеству! Сила настоящего, в борьбе с бывшим и будущим, так велика, что в те дни, когда шла борьба, сам Данте мог усомниться в своей правоте.

Вот что скажет, через двести лет, о тех самых «флорентийцах негоднейших», sceleratissimi, которых Данте так презирал, почти такой же среди них одинокий, так же ими непонятый и презренный, как он, великий флорентинец, Макиавелли: «Кажется, ни в чем не видно столь ясно величие нашего города, как в тех междоусобиях, divisione (citta partita, по горькому слову Данте), которые могли бы разрушить всякий другой великий и могущественный город, но в которых величие нашего – только росло. Сила духа и доблесть, и любовь к отечеству были у граждан его таковы, что и малое число их, уцелевшее в тех междоусобиях, сделало больше для его величия, чем все его постигшие бедствия могли сделать для его погибели»[21].

Если в малой тяжбе Данте с Флоренцией прав не он, а Макиавелли, то, в великой тяжбе прошлого с будущим, кто из них прав, – этого, и через семь веков после Данте, никто еще не знает.

Вылезши наконец не без больших потерь из болота Ломбардской войны, Генрих все же идет не на Флоренцию, куда зовет его Данте, а в Рим, где, по вековому преданию, должно было венчаться императору Священной Римской Империи. 7 мая 1312 года вступает он в Рим, занятый войсками второго, после Флоренции, злейшего врага своего, Роберта Анжуйского, короля Неаполя.

Кровью залили уличные бои развалины Вечного Города, базилика Св. Петра, где надо было венчаться Генриху, занята была, так же как весь Ватикан, войсками Роберта. Папы не было в Риме. В жалком и постыдном Авиньонском плену у французов сам француз, «гасконец», il guasco, как назовет его презрительно Данте, все еще мечтает он о земном владыче-

стве пап и, боясь за его последний клочок, Римскую область, – как бы не отнял ее император, – подло и глупо изменяет им же только что заманенному в Италию Генриху; делает с ним то же, что разбойник – с заманенной жертвой: режет его в западне; войско Роберта в папских руках, – разбойничий нож.

Кардиналы отказываются, конечно не без ведома папы, венчать Генриха, под тем предлогом, что сделать этого нельзя нигде, кроме базилики Петра. Но римский народ, верный до конца императору (все простые люди из народа, такие же «прямые» сердцем, как он сам, будут верны ему до конца), почти насильно принуждает кардиналов к венчанию. Папский легат, тоже изменник, тайный друг и пособник Роберта, венчает Генриха в Латеранском Соборе, 29 июня, в день Петра и Павла[22]. Нехотя и не там, где надо, изменниками, слугами папы-изменника, венчан, как бы накриво, накосо, Генрих Косой: так посмеялся над ним и этот вечный спутник его, насмешливый демон.

Уличные бои возобновились после венчания с новою силою. Чтобы избавить от них несчастный город, Генрих вышел из него и только теперь наконец двинулся туда, где был «корень зла» и куда звал его Данте, – на Флоренцию. 19 сентября подошел он к самым воротам ее, так что осажденные ждали, с часу на час, что он войдет в город, и думали, что пришел их конец. Множество флорентийских изгнанников, тоже с часу на час ожидавших возвращения на родину, сбежалось к императору. Но среди них не было Данте[23]. «К родине своей питал он такую сыновнюю любовь, что, когда император, выступив против Флоренции, расположился лагерем у самых ворот ее, Данте не захотел быть там... хотя и сам убеждал Генриха начать эту войну», – вспоминает Леонардо Бруни[24]. Кару Божию звал Данте на преступную Флоренцию, а когда уже готова была обрушиться кара, не захотел ее видеть: духу у него не хватало радоваться бедствиям родины. Это значит: явно ненавидел и проклинал ее, а тайно любил; было в душе его «разделение» и в этом, как во многом другом.

Только случай спас Флоренцию: вдруг подоспевшая, из Романьи, Тосканы и Умбрии, помощь союзников принудила Генриха отступить и начать правильную, надолго затянувшуюся осаду города. Когда же наступила зима, то смертность от холода, голода и повальных болезней увеличилась в императорском войске так, что Генрих вынужден был, сняв осаду, 6 января уйти на зимние квартиры в соседнее с Флоренцией местечко, Поджибонси (Poggibonsi)[25].

Следующий, 1213 год, был для императора тягчайшим из трех тяжких годов Итальянского похода. Теперь уже все могли видеть в Генрихе то, что первый увидел в нем Данте, – обреченную на заклание жертву.

Если мера человека узнается лучше всего в страданиях, то прав Данте, не называя Генриха иначе как «духом высокий Arrigo», l’alto Arrigo. Душу свою он отдаст за чужой несчастный народ, который поступит с ним так же, как злое и глупое дитя, «если бы, умирая от голода, оно оттолкнуло кормилицу»[26].

Всеми покинутый, в чужой полувражеской стране, где самый воздух напоен предательством, как воздух Мареммы – болотной лихорадкой, Генрих видит, как войско его с каждым днем уменьшается, тает, от постоянных, тоже предательских засад и нападений полувоенных, полуразбойничьих шаек, бывших для этого доблестного, но изнеможенного войска тем же, что ядовитые жала бесчисленных мух – для издыхающего льва. Гнусно изменяют Генриху все, но гнуснее всех – папа, – сначала тайно, а потом и явно, когда императора Священной Римской Империи, им же провозглашенного, в недавней энциклике, «посланником Божиим», – вдруг испугавшись в нем соперника земному владычеству пап и как бы сойдя с ума от этого страха, – он отлучает от Церкви. Видеть, как пастырь Христов сделался волком, всем верующим было страшно, но страшнее всех Генриху, потому что он больше всех верил ему и на него надеялся[27].

Ко всем этим испытаниям внешним присоединилось и внутреннее – потеря нежно любимой жены и брата: оба умерли, все в том же несчастном походе, так что скорбь его растравлялась терзающим сомненьем: имел ли он право жертвовать чужому, неблагодарному народу не только собой, но и теми, кого больше всего на свете любил?[28] Мука этого сомненья, может быть, облегчалась для него только тем, что смерть и ему самому уже смотрела в глаза: медленный, но жестокий и неисцелимый недуг подтачивал силы его, как медленный яд. Бывали дни, когда изможденное, прозрачно-бледное, точно восковое лицо его напоминало лицо покойника.

Но чем тяжелее был крест, тем он мужественнее нес его; духом не падал, а возвышался и креп. «Мы родились от вечного гранита», – мог бы сказать и он, как Данте.

В эти именно тягчайшие дни главный внутренний враг Генриха, «демон отвлеченности», отступил от него, побежденный. Прежде ходил он, как бы на аршин от земли, точно реял по воздуху, а теперь твердо пошел по земле; деятелем стал созерцатель, – искусным полководцем и мудрым политиком. С папой порвав окончательно и презрев отлучение от Церкви, заключил он союз с королем Сицилии, Фридрихом Аррагонским и с Генуей; убедил и германских князей двинуть на помощь к нему огромное войско.

Новый поход, тщательно подготовленный за зиму, должен был охватить Италию с двух концов, с юга и севера, морскими и сухопутными силами. «Люди, опытные в военном деле, – вспоминает Дж. Виллани, – не сомневались... что государь такого великого духа и таких отважных замыслов мог легко победить короля Роберта и, победив его, овладеть всей Италией и многими другими странами»[29]. Это значит: мог восстановить бывшую или основать будущую Всемирную Монархию, о которой мечтал и Данте.

Снова, как тогда, при первом явлении Генриха, «посланника Божия», мир, затаив дыхание, ждал великих событий, которым суждено было, казалось, изменить лицо мира. Но произошло то, чего никто не ждал: 4 августа 1313 года император выступил в поход из Пизы, а через двадцать дней, недалеко от Сиены в монастыре Буонконвенто, причастившись Св. Тайн у духовника своего, доминиканского инока, Бернардо Монтепульчиано, тяжело заболел и так внезапно умер, что прошел слух, что он отравлен был ядом в Причастии[30] и что это злодейство совершено если не по воле, то не без ведома, а может быть, и тайного согласия папы: видя, что отлучение от Церкви не помогло, решил он будто бы прибегнуть к этому, более действительному, средству – яду. Если так, то Римский Первосвященник мог бы сказать над гробом Римского Императора: «Я тебя родил – я тебя и убил!»

Верен ли этот слух или ложен, – страшно уже и то, что люди могли ему поверить с такою легкостью: видно по ней, какое зло тогда царило в миру и в Церкви.

В скорой смерти папы (года не прошло, как умер он, все в том же постыдном и жалком Авиньонском плену) увидели все Божью кару и могли поверить тому, что предрек о нем Данте: папа на папу, Климент Гасконец на Бонифация Ананьевца, второй маленький Антихрист на первого низвергнется в раскаленный колодезь Духопродавца Симона Волхва, – и тяжестью своею «глубже вдавит Ананьевца в ту огненную щель»[31].

А Генрих воссядет на великий престол, в высшем Огненном Небе, Эмпире, там, где цветет, пред лицом Несказанного Света, «Белая Роза» вечной весны[32].

В жизни Данте смерть Беатриче и смерть Генриха – два равно, хотя и по-разному, сокрушающих удара. Мало говорит он о первой, а о второй не говорит ничего, может быть, потому что люди говорят и плачут в великом горе, а в величайшем – молчат без слез.

Не плакал я – окаменело сердце[33].

Слезы, до глаз не доходя, сохли на сердце, как на раскаленном камне.

Что почувствовал Данте, узнав о смерти Генриха? Может быть, то, что чувствует человек, упавший в пропасть, в ту минуту, когда тело его разбивается о камни; в теле у него все кости сломаны, а в душе у Данте все надежды разбиты, и главная из них – возвращение на родину.

Вспомнил ли он послание свое «к флорентийцам негоднейшим», в котором предрекал им ужасную казнь, и письмо к императору, в котором убеждал его раздавить «ядовитую гадину», Флоренцию? Если вспомнил, то, может быть, шевельнулось в сердце его, умом незаглушимое, сомнение: не предал ли он отечество для невозможной мечты о всемирности? И, может быть, приснился ему страшный сон наяву: будто проваливается он, падает в последний круг Ада, в «Иудину пропасть», Джиудекку, где в вечных льдах леденеют предатели.

XVI
В ВЕЧНЫХ ЛЬДАХ

«После кончины императора Генриха... Данте, потеряв всякую надежду вернуться в отечество, провел последние годы жизни в большой бедности, скитаясь в различных областях Ломбардии, Тосканы и Романьи и находясь под покровительством различных государей», – глухо и кратко вспоминает Леонардо Бруни[1]. Но в этой глухоте и краткости – какая длина черных-черных дней, месяцев, годов! Снова скитается, нищий, «выпрашивая хлеб свой по крохам»; снова «ест пепел, как хлеб, и питье свое растворяет слезами» (Пс. 101, 10). Но, может быть, больше всех мук изгнания, – нищеты, унижения, презрения людей, одиночества, – мука *бездействия*.

«Кто не заботится об общем деле... подобен не дереву, посаженному при потоках вод, приносящему плод свой во время свое, а поглощающей все и ничего не возвращающей бездне. Часто думая об этом, для того чтобы не обвинили меня когда-нибудь в том, что я зарыл талант свой в землю, я хочу принести на пользу общему благу не только весенние почки, но и плоды, – показать людям никогда еще никем не испытанные истины, intemptatas ab aliis ostendere veritates»[2]. Этого Данте не сделал или сделал не так и не в той мере, как хотел и мог бы сделать, если бы не помешало ему что-то в людях или в нем самом. В этом «или», может быть, главная мука его – сомнение: не зарыл ли он талант свой в землю? не был ли той бесплодной смоковницей, которую проклял Господь, не найдя на ней ничего, кроме листьев: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек»? Что, если все его «созерцание» – только листья, а «действие» – не найденный Господом плод?

Лучше, чем кто-либо, знал он, как сильно человеческое слово для будущего, сомнительного действия и как оно бессильно для настоящего, близкого, несомненного. Несколько бесполезных писем к сильным мира сего – самым глухим, слепым и равнодушным людям в мире, глас вопиющего в пустыне, – не это ли все его «действие»? Если рыцарская надпись на щите его и боевой клич: «не для созерцания, а для действия», то не потерян ли им щит и не проигран ли бой? Очень вероятно, что в этой муке бездействия он чувствовал себя иногда одним из тех «малодушных», ignavi, не сделавших выбора между злом и добром, Богом и дьяволом, «никогда не живших», которых он больше всего презирал[3]. Очень вероятно, что бывали у него такие минуты, когда он мог бы сказать:

> *я сравнялся с нисходящими в могилу... между мертвыми брошенный, – как убитые, лежащие в гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, Господи, и которые от руки Твоей отринуты (Пс. 87, 5—6), —*

как мученики последнего адова круга, леденеющие в вечных льдах.

Кажется, в 1314 году Данте ищет покровительства у бывшего главы пизанских Гибеллинов, Угучьоне дэлла Фаджиола (Uguccione della Faggiuola). Это был человек такого исполинского роста и такой непомерной силы, что оружейные мастера ковали ему оружие, которого поднять, и латы, которых надеть не мог бы никто, кроме него. Но этот с виду грубый, дикий, почти страшный исполин имел сердце доброе, детски простое и одаренное тем, что Данте ценил в людях больше всего, – «прямотою», drittura[4]. Хитрых и ловких пройдох, «прирожденных торгашей и менял», «флорентийцев негоднейших», этот великодушный рыцарь ненавидел так же, как Данте. Воин великой отваги и искусный полководец, продолжая дело императора Генриха, возобновил он войну с Флоренцией и, 29 августа 1315 года, в бою под Монтекатино разбил наголову тосканских Гвельфов, главных союзников и защитников Флоренции[5]. Так же, как два года назад, казалось и теперь, что дни ее сочтены; так же, как тогда – император Генрих, стоял в ее воротах теперь Угучьоне, может быть, мститель за Генриха; так же готов был и этот, как тот, по слову Данте, «раздавить ту ехидну, пожирающую внутренности матери своей, Италии, чье имя – Флоренция».

Видя грозную опасность и, может быть, надеясь поселить во вражьем стане раздор, Флорентийская Синьория решила помиловать наименее виновных изгнанников, позволив им вернуться на родину, под двумя условиями, – одним, легким, – пенею в сто золотых малых флоринов, а другим, тяжелым, – участием в покаянном шествии, общем для всех милуемых преступников, в том числе и обыкновенных воров, убийц и разбойников: все они должны были идти в церковь Иоанна Крестителя, босоногие, с зажженными свечами в руках и в тех позорных колпаках, в каких сжигали еретиков, колдунов и прочих богоотступников[6]. Многие подчинились этим условиям и вернулись на родину; но не подчинился Данте.

Кажется, вскоре после Монтекатинского боя, получив сначала письмо от племянника, может быть Николо Донати, а потом еще несколько писем от флорентийских друзей, с предложением выхлопотать и ему помилование, он ответил им одним общим отказом[7].

...«Пишете вы мне, что если бы я, согласно объявленному ныне во Флоренции закону о возвращении изгнанников, уплатил назначенную пеню, то мог бы, получив прощение, вернуться на родину... Смеха достойное предложение!.. Так ли должно вернуться в отечество свое, после почти пятнадцатилетнего изгнания, Данте Алагерию? Этого ли заслужила невинность его явная всем и труд бесконечный в поте лица? Нет, да не унизится так муж, знающий, что такое мудрость... да не примет он милости от обидчиков своих, как от благодетелей... Если только таким путем могу я вернуться во Флоренцию, то я никогда в нее не вернусь. И пусть! Не всюду ли я буду видеть солнце и звезды? Не под всеми ли небесами буду созерцать сладчайшие истины, не предавая себя позору пред лицом флорентийских граждан? Да и хлеба кусок я найду везде»[8].

Дрогнула бы, может быть, рука у Данте, когда писал он сам себе этот приговор вечного изгнания: «Я никогда не вернусь во Флоренцию, nunquam Florentiam introibo», – если бы он меньше надеялся на то, что после Монтекатинской победы вернется на родину не кающимся грешником, а торжествующим мстителем. Но и этой второй надежде, так же, как той, первой, – на Итальянский поход Генриха, – не суждено было исполниться. Точно какой-то насмешливый рок давал ему надежду, подносил чашу студеной воды к жаждущим устам, как в муке Тантала, и тотчас отнимал ее, так, чтобы мука жажды росла бесконечно.

В пропасти кидается Агасфер – ищет смерти, но не находит: сломанные в падении кости срастаются, и он продолжает свой бесконечный путь. В пропасти не кидается, а падает Данте, в постоянных и внезапных переходах от надежды к отчаянию, двух миров, того и этого, вечный странник; тот мир для него все действительней, этот – все призрачней; все легче падения, но мучительнее в костях, ломаемых и срастающихся, боль усталости.

Очень хорошим полководцем был Угучьоне, но плохим политиком: лучше умел брать, чем удерживать взятое. Пиза и Лукка, две главные твердыни военной силы его, в марте 1316 года возмутились против него. Буйною чернью, в Пизе, в его отсутствие, разграблен и сожжен был дворец его, казнены все его приближенные, и ему самому объявлен заглазный приговор изгнания[9]. В несколько дней пало все его величье. Дымом рассеялась слава Монтекатинской победы, он оказался военачальником без войска и таким же изгнанником, как Данте. Снова Флоренция была спасена.

Месяцев пять назад, 6 ноября 1315 года, объявлен был Флорентийской Коммуной, как бы в ответ на гордое письмо Данте, третий над ним приговор. Первый осуждал его на вечное изгнание, второй – на сожжение, а третий – на обезглавление[10]. Так истребляла родина-мать сына своего, Данте, огнем и железом. Смертный приговор произнесен был и над двумя старшими сыновьями его, Пьетро и Джьякопо; оба они объявлены «вне закона»[11].

В 1316 году Данте бежал, кажется, из Лукки, вместе с Угучьоне, а может быть, и с обоими бежавшими из Флоренции сыновьями в Верону, туда же, где лет пятнадцать назад, в самом начале изгнания, он уже искал и не нашел убежища.

Юный герцог Веронский, наместник Священной Римской Империи в Ломбардии, вождь тамошних гибеллинов, Кане Гранде делла Скала, принял Данте милостиво, как принимал всех изгнанников. Столь же искусный полководец, как Угучьоне, но лучший политик, чем он; рыцарски-великодушный и очаровательно-любезный, по внешности, но внутренне холодный и хуже чем жестокий, – бесчувственный к людям (все они были для него только пешками в военно-политической игре); первое явление той необходимой будто бы в великом государе «помеси льва с лисицей», – лютости с хитростью, чьим совершенным образцом будет для Макиавелли Цезарь Борджиа, – вот что такое Кане Гранде.

В людях Данте редко ошибался, но, кажется, в этом человеке ошибся: принял в новом покровителе своем за чистую монету свойство, в сильных мира сего опаснейшее для тех, кому они благодетельствуют, – тщеславие добра.

Великолепный герцог Вероны хотел удивить мир невиданною щедростью ко всем несчастным изгнанникам, – особенно же к людям высокого духа, таким, как Данте. Этого хотел он и это получил: множество легенд о нем, не менее восторженных, чем если бы дело шло об одном из великих мужей древности, ходило тогда по устам.

Ряд великолепных дворцовых покоев превращен был в богадельню для собиравшихся сюда со всех концов Италии неудачных политиков, полководцев, проповедников, художников, ученых и поэтов, но больше всего для шутов-прихлебателей. Каждый покой украшен был аллегорической живописью, соответствующей судьбе своего обитателя: триумфальное шествие для полководцев, земной рай для проповедников, бог Меркурий для художников, хор пляшущих Муз для поэтов, богиня Надежды для изгнанников, а на потолке самого большого покоя, где собирались все, в этой богадельне призираемые, – вертящееся колесо богини Фортуны[12]. Пользуясь услугой пышно одетой дворцовой челяди и каждый день пиршествуя то у себя, то, по особому выбору, у хозяина, что считалось великою честью, – жили в этих великолепных покоях несчастные, нищие, озлобленные люди, как Улиссовы спутники, превращенные в свиней, в хлеву у Цирцеи, или пауки в банке. Ссорясь жестоко из-за милостей герцога, рвали они друг у друга куски изо рта. Были среди них и добрые, и честные люди, но участь их была горше участи всех остальных, потому что они видели, что покровителю их умеют лучше всего угождать не они, а самые подлые, злые и распутные люди, – особенно шуты. Человек большого ума и такой же тонкий ценитель всего прекрасного, как Цезарь Борджиа, Кане Гранде забавлялся этими подлыми и злыми, но умными иногда и веселыми шутками, как слишком избалованное дитя забавляется грубо сделанными, нелепыми и чудовищными игрушками. А те, это зная и пользуясь этим, верховодили всем при дворе.

Некий Чекко Анджольери, один из презреннейших шутов-лизоблюдов, но не самый бездарный из придворных поэтов, в посвященном Данте сонете, сравнивая две горькие судьбы – его и свою, – находил в них много общего. И, может быть, наступил в жизни Данте тот страшный час, когда он вдруг понял, что этот шут по-своему прав: здесь, при дворе Кане Гранде, многие смешивали, не только по созвучью имен, Чекко Анджольери и Данте Алигьери[13].

Жди от него себе благодеяний, —

этому пророчеству Качьягвидо, прапрадеда, о герцоге Веронском не суждено было исполниться над праправнуком Данте. Сколько раз, должно быть, хотелось ему выкинуть из Святой Поэмы этот грешный стих, как выкидывают сор из алтаря. И то, что он этого не сделал, боясь, может быть, что его самого выкинут, как сор, из последнего убежища, дает, кажется, точную меру униженья, которому он подвергал себя при дворе Кане Гранде, вольно или невольно: в этом «или» опять главная мука его – сомнение в себе.

«Великолепному и победоносному Государю, Кане Гранде делла Скала, Святейшего Кесаря Императора, в городе Вероне... главному наместнику, преданнейший слуга его, Данте Алагерий, флорентинец по крови, но не по нравам, долгого благоденствия и вечно растущей славы желает. – Вашему великолепию всюду неусыпно-летающей славой разносимая хвала столь различно на людей различных действует, что приносит надежду спасения одним, а других повергает в ужас погибели. Я же, сравнивая хвалу сию с делами людей нашего века, почитал ее чрезмерною. Но, дабы не длить о том неизвестности и увидеть своими глазами то, о чем слышал молву, поспешил в Верону, как древле Царица Южная – в Иерусалим, и богиня Паллада – на Геликон. Здесь, увидев щедроты ваши... и на себе самом их испытав, понял я, что молва о них не только не чрезмерна, но и недостаточна. И если, уже по ней одной, душа моя влеклась к вам невольно, покорствуя, то, после того, что я увидел, сделался я вашим преданнейшим слугой и другом. В гордости быть обвиненным, называя себя вашим другом, я не боюсь... потому что не только равных могут соединять святые узы дружбы, но и неравных... ведь другом и самого Бога может быть человек. Всех сокровищ мира дороже для меня ваша дружба, и я хочу сделать все, чтоб ее сохранить... А так как, по учению нравственному, дружба лучше всего сохраняется равенством добрых дел, то мое горячее желание – отблагодарить вас, хоть чем-нибудь, за все сделанное мне добро. Часто и долго искал я в том скудном и малом, что есть у меня, чего-либо вам приятного и достойного вас, и ничего не нашел более соответственного вашему высокому духу, чем та высшая часть „Комедии“, которая озаглавлена „Рай“. Ныне, с этим письмом, я и приношу ее вам, как малый дар, и посвящаю...»

Следует длинное, сложное и трудное, схоластическою ученостью загроможденное истолкование нескольких аллегорических смыслов «Комедии». Если Кане Гранде прочел это истолкование, или, что вероятнее, только заглянул в него одним глазом, то, может быть, убедился в том, что уже давно подозревал, – что Данте – человек умный, но скучный, один из тех ученых старых колпаков, с которыми нечего делать. Но с большим вниманием прочел он, должно быть, конец письма: «общий смысл второй части вступления (в „Рай“) таков; говорить же об этом подробнее не буду сейчас, потому что крайняя нужда в самом необходимом угнетает меня до того, что я иногда принужден покидать это и другие, для государства полезные, дела. Но надеюсь на великолепную щедрость вашу, Государь, дабы иметь возможность продолжать Комедию»[14].

Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала...

Кажется, видишь, читая письмо, эту трепетно протянутую руку.

Чувствовать, что висишь на волоске над пропастью, и знать, что порвется ли волосок или выдержит, зависит от того, с какой ноги встанет поутру благодетель, с левой или с правой, и соглашаться на это, – какая низость и какая усталость! Хочется иногда, чтобы порвался наконец волосок и дал упасть в пропасть, – только бы полежать, отдохнуть, хотя бы и со сломанными костями, там, на дне пропасти.

Много сохранилось легенд о пребывании Данте при дворе дэлла Скала. Что происходило с ним, – забыто в них или грубо искажено, но, может быть, уцелело смутное воспоминание о том, что происходило в нем самом, – о постигшем его, в гнусной богадельне Великолепного Герцога, бесконечном стыде и поругании. Вот одна из этих легенд.

«Когда приглашен был Данте однажды, вместе со многими другими знатными гостями, к столу мессера Кане... тот потихоньку велел придворному мальчику-слуге, спрятавшись под стол, собрать все обглоданные кости с тарелок в одну кучу, у ног Данте. А когда, сделав это, мальчик ушел, мессер Кане велел убрать столы и, взглянув с притворным удивлением на кучу костей, воскликнул:

– Вот какой наш Данте, мясов пожиратель!

– Стольких костей вы не увидели бы тут, синьор, будь я Псом Большим! – ответил Данте, не задумавшись.

Cane grande – значит «Пес Большой».

И восхищенный будто бы таким быстрым и острым ответом, мессер Кане, великодушный покровитель Муз, милостиво обнял и поцеловал поэта»[15].

Что, в самом деле, мог бы он сделать, кроме одного из двух: или, против него, обнять, или выгнать за то, что он кусает дающую руку? Если же предпочел обнять, то, может быть, потому, что не был еще достаточно похож на Борджиа, чтобы, презирая суд потомства, не страшиться Дантова, жгущего лбы, каленого железа. Но, должно быть, обнял так, что лучше бы выгнал.

Все это, конечно, мало вероятно, как внешнее событие, и похоже на легенду; но и одна возможность таких легенд имеет цену исторического свидетельства, по которому видно, что чего-то не знает и в чем-то ошибается Боккачио, уверяя, будто бы «у мессера Кане Данте был в таком почете, как никто другой»[16].

Но, кажется, больше, чем легенда, – полуистория – то, что сообщает Петрарка, видевший, в детстве, своими глазами Данте и кое-что, вероятно, слышавший о нем от отца своего, Дантова современника.

«Находясь при дворе Кане Гранде, Данте был сперва в большом почете, но затем, постепенно теряя милость его, начал, день ото дня, все меньше быть ему угодным. Были же при том дворе, как водится, всевозможные шуты и скоморохи, и один из них, бесстыднейший, заслужил непристойными словами и выходками великое уважение и милость у всех. Видя однажды, что Данте очень от этого страдает, Кане подозвал к себе того шута и, осыпав его похвалами, сказал поэту:

– Я не могу надивиться тому, что этот человек, хотя и дурак, умел нам всем понравиться... а ты, мудрец, этого сделать не мог!

– Если бы ты знал, что сходство нравов и сродство душ есть основание дружбы, ты этому не удивлялся бы! – ответил Данте»[17].

Это значит: «Ты – такой же шут, как он!» Данте едва ли мог бы так ответить, если не желал испытать на себе, крепки ли замки и глубоки ли подвалы веронских темниц. Но после одной из непристойных шуток своего благодетеля, ставивших его на равную ногу с шутами, мог дать ему почувствовать «режущую силу слов своих»[18], в достаточной мере, чтобы тот не заточил его в темницу и даже не выгнал, а сделал то, что в таких случаях делают

сильные мира сего, – тихо отнял от него дающую руку, тихо оставил его – уронил, как роняют ненужную вещь. И наступила, вероятно, такая минута, когда почувствовал Данте, что лучше ему умереть как собаке на большой дороге, от холода и голода, чем быть сытым и греться в великолепной богадельне Кане Гранде.

Как провел Данте последнюю ночь, в палате поэтов с хором пляшущих Муз или в палате изгнанников с аллегорической богиней надежды? Может быть, укладывал в тюки кое-какую нищенскую рухлядь с драгоценными книгами и рукописями, чтобы рано поутру навьючить их, под насмешливыми взглядами придворной челяди, на хромую клячу или ободранного мула, которого, узнав о постигшей его немилости, едва соблаговолит выдать ему из дворцовой конюшни вельможного вида холоп.

Очень устав от укладки и вспомнив, как прежде легко делал эту работу, может быть, почувствовал себя вдруг таким стариком, как еще никогда[19]. В редкие счастливые минуты, особенно в те, когда, весь погруженный в сладостный труд над Священной Поэмой, он все в мире забывал, – чувствовал он себя так, будто ему все еще восемнадцать лет, а в такие минуты, как эта, – будто ему восемьдесят или даже восемьсот лет: такая в костях, слишком часто ломаемых и сраставшихся, боль бесконечной усталости.

Чтобы отдохнуть, начал штопать на последней приличной одежде дыру. Утром еще, заметив ее на правом локте, там, где легче всего протирается ткань от движения руки по столу, во время писания, – огорчился, как от настоящей беды, потому что бедному человеку дыры на платье почти то же, что раны на теле.

Кое-как заштопав дыру, начал связывать в пачки уцелевшими еще от прежних скитаний бечевками исписанные правильным почерком, «с высокими и тонкими буквами», пожелтевшие листки «Комедии»[20]. Кончит ли ее, или вместе с ним пропадет и она, так же бессмысленно-случайно и бесславно, как он? Думая об этом, то возмущался, то жалел себя тою ядовитою жалостью, которая всего убийственней для мужества, необходимого, чтобы страдать с достоинством.

Мы рождены от вечного гранита, —

вспомнив это слово бога Любви, сказанное трем Прекрасным Дамам, таким же невинным, как он, Данте, изгнанницам, – горько усмехнулся: вместо «вечного гранита» тело раздавленной улитки; вместо львиного сердца заячье, – не эта ли участь ему суждена?

Вдруг из пачки старых, пожелтевших листков выпал новый, белый, – черновик последней страницы недавнего письма его к Веронскому герцогу.

...«Часто и долго искал я в том скудном и малом, что есть у меня, чего-либо приятного вам и достойного вас, и ничего не нашел более соответственного вашему высокому духу, чем та высшая часть „Комедии“, которая озаглавлена „Рай“. Ныне и приношу ее вам, как малый дар, и посвящаю...»

Это прочел он и закрыл лицо руками, почувствовав в нем такую боль, как будто тем каленым железом, которым клеймил он других, кто-то заклеймил его самого. «Псам не давайте святыни и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Хуже, чем псу, отдал святыню; бросил свой жемчуг хуже, чем свиньям, – тонкому, по внешности, ценителю всего прекрасного и высокого, по внутреннему – палачу их и осквернителю.

Весь горел в огне стыда, как мученики ада – в вечном огне. Но вечность эта была только мигом во времени; миг пролетел, и вновь повторился тот страшно знакомый сон наяву: будто бы проваливается, падает он в последний круг Ада – «Иудину пропасть», Джьюдекку, где, в вечных льдах, леденеют предатели: с ними будет и он, потому что предал не другого человека, а себя самого и то, что ему было дороже, чем он сам.

«Из преисподней вопию к Тебе, Господи!» – хотел сказать и не мог, – онемел, оледенел, – умер и ожил; и вечно будет жить – умирать в вечных льдах.

Тихо отнял руки от лица, и тусклый свет догорающей свечи упал на это лицо, как будто мертвое, и все-таки живое. Если бы кто-нибудь увидел его, то ужаснулся бы, может быть, как если бы заглянул из этого мира в тот.

XVII
ЛИЦО ДАНТЕ

Кажется, в эти последние годы жизни изваяно было лицо Данте страданием, как резцом искусного ваятеля.

«Роста он был среднего и, в зрелые годы, ходил немного сгорбившись, важной и тихой поступью, – вспоминает Боккачио. – Лицо имел продолговатое, нос орлиный... большие глаза».

«Очи ястребиные», или орлиные, такие же, как, по слову Данте, были у Цезаря[1], – то подернутые мутной пленкой, как у спящего орла, то сверкающие, прямо на полдневное солнце в зените смотрящие, как у того же орла, в полете, или у Беатриче, в раю:

> *...смотрит на солнце так прямо и пристально, как никогда и орел на него не смотрел[2].*

«Челюсти большие, – продолжает вспоминать Боккачио, – нижняя губа выдавалась вперед; цвет лица смуглый; волосы, на голове и на бороде, черные, густые и курчавые»[3].

Слишком привычное для нас, но недостоверное и в поздних, от XV и XVI веков, изображениях, едва ли уже не классически-условное, лицо Данте, гладко-бритое, голое, запечатлелось в нашей памяти так, что, вопреки свидетельству Боккачио, а может быть, и самого Данте[4], мы не можем представить себе это лицо с бородой. Вот, кажется, еще один из бесчисленных признаков, хотя и маленький, но несомненный, того, как исторически-подлинное, живое лицо Данте нам неизвестно. Джиоттова стенопись над алтарем в часовне Барджелло, с лицом Данте, забеленным известью, – лучший символ того, как это лицо забыто людьми и презрено. Если же внешне лицо его презрено так, то внутреннее, – тем более.

Странный для нас, как бы женский, головной убор XIII века, – темный, монашеский куколь или острый колпак с двумя полотняными, белыми лопастями наушников и загнутой назад верхушкой, – усиливает в этом тонком, безусом и безбородом лице почти жуткое впечатление чего-то женского, как бы старушечьего или стародевического, напоминающего лицо древней Сибиллы, Виргилиевой спутницы в аду, или могучей вызывательницы мертвых, Аэндорской волшебницы.

«Грустно было всегда лицо его и задумчиво», – в этих словах Боккачио[5], кажется, верно угадано первое, от Дантова лица, впечатление: задумчивость.

> *Я шел, лицо так низко опустив,*
> *Под бременем тяжелых дум согбенный,*
> *Что сделался похож на половину*
> *Мостовой арки[6].*

Так идет он по обоим мирам, тому и этому.

> *О, злая смерть и беспощадная,*
> *древняя матерь страданья,*

неотменимый приговор и тяжкий,
из-за тебя так прискорбно сердце мое,
что я иду, всегда погруженный в задумчивость...[7]

«Стоя однажды в Сиене, у прилавка аптекаря и открыв предложенную ему новую книгу, погрузился он в чтение так, что, от полуденных колоколов до вечерних, простоял, не двинувшись и не заметив происходившего в городе шумного празднества, с музыкой, плясками и рыцарскими турнирами»[8].

Первое впечатленье от лица его – задумчивость, а о втором, более глубоком, можно судить по сообщаемой Боккачио, кажется, очень ранней, еще при жизни Данте возникшей легенде, в которой, может быть, уцелела память о впечатлении, какое производило это лицо на простых людей.

Шел он однажды по улицам Вероны, должно быть, в той «пристойнейшей и зрелым годам его соответственной одежде, которую всегда носил»[9], – может быть, величественно-простой, флорентийской тоге – лукко, с прямыми длинными складками, напоминавшими римскую тогу, из ткани такого же «красно-черного» цвета, как воздух Ада[10]; шел, как всегда, сгорбившись, «под бременем тяжелых дум согбенный», и, может быть, надвинув на лицо куколь так низко, что видны были под ним только выдававшаяся вперед, нижняя челюсть, горбатый нос – орлиный клюв, да два глаза – два раскаленных угля. «И, когда проходил мимо ворот одного дома, у которого сидели многие женщины, – одна из них сказала другим тихим голосом, но все же так, что Данте... мог слышать:

– Вот человек, который сходит в ад и возвращается оттуда, когда хочет, и приносит людям вести о тех, кто в аду!

– Правду ты говоришь, – ответила другая простодушно, – вон как борода у него закурчавилась и кожа на лице потемнела от адского жара и копоти!

Данте услышал эти сказанные за его спиною слова... и они ему понравились, потому что шли от чистой веры тех женщин... И почти довольный тем, что они так о нем думали, он чуть-чуть усмехнулся и пошел дальше»[11].

Но, может быть, не всегда нравилось ему казаться людям выходцем с того света и внушать им такое же любопытство, смешанное с ужасом, какое должны были чувствовать они к побывавшему на том свете и узнавшему загробные тайны, воскресшему Лазарю.

«Данте хорошо знал себе цену и был о себе очень высокого мнения». – «Был очень горд и презрителен к людям», – свидетельствует Боккачио[12]. «Вследствие своих глубоких знаний, был несколько высокомерен, нелюдим и презрителен», – подтверждает и современник Данте, Джиованни Виллани».[13]

Может быть, лучше всего изображено лицо Данте им самим, когда о встреченной им, на втором уступе Чистилищной горы, тени великого Мантуанского трубадура, Сордэлло, он говорит то же, что мог бы сказать о себе:

О, гордая Ломбардская душа,
Как был твой взгляд презрительно-спокоен,
Как медленно движение очей.
Когда мы подходили, ты же молча,
Следя за нами, обращал свой взор,
Как царственно-покоящийся лев![14]

Данте знает, что гордость – смертный грех; что «гордые христиане – самые жалкие, слабые, слепые, червям подобные люди»[15]; что главная причина мирового зла – «проклятая гордыня того, кто Ангелов в свое паденье увлек», и кого он видел в безднах ада, – «раз-

давленного всею тяжестью миров»[16]; знает он, что быть гордым – значит быть раздавленным этою неземною тяжестью; знает, потому что своими глазами видел на первом уступе Святой Горы Очищения, какою страшною казнью искупают души грех гордости:

В них пристальней вглядевшись, я увидел,
Что все они подобны были
Тем изваяньям согнутых людей,
Что иногда для потолка иль крыши
Подпорой служат и колена с грудью
Соединяют так, что тяжело
На них смотреть. Хотя одни
Сгибались больше, а другие – меньше,
Но терпеливейший из них, казалось, плакал
И говорил: «Я больше не могу!»[17]

Знает он, что эта казнь ждет и его:

Я чувствую, – уже мне бремя давит плечи[18].

Уже здесь, на земле, это чувствует: вот почему ходит, «сгорбившись», согнувшись, и так же, как те, раздавленные каменными глыбами, в Чистилище, плачет и говорит: «Я больше не могу!» Все это он знает, – и все-таки горд; не может, или не хочет, смириться.

О, гордая душа, благословенна
Носившая тебя во чреве! —

скажет ему Виргилий[19].

Кажется, не в уме, а в сердце и воле Данте есть неразрешимое для него противоречие – начало всех мук его, – между высшим человеческим достоинством, которое делает людей «сынами Божьими», и «проклятою гордынею» того, кто, будучи одним из «сынов Божьих», захотел быть единственным. Данте раздавлен, как двойною каменною глыбою, – двойною тяжестью божественной силы своей и человеческой немощи.

Только чудом любви к двум Смиреннейшим, или к Одной в двух, – Беатриче – Марии, спасшись из ада гордыни, восходит он медленно-трудно, по страшно крутой, почти отвесной, лестнице Чистилища, к «небу смирения».

Есть в воле и в сердце Данте и другое, столь же неразрешимое для него, противоречие – между тем, что людям кажется в нем «жестокостью», и тем, что так хорошо угадал в нем Карлейль («Поклонение героям»): «Если была когда-нибудь в сердце человеческом нежность, подобная нежности матери, то она была, конечно, в сердце Данте».

«Стыдно мне об этом говорить, из уважения к памяти Данте, но слишком хорошо известно всем в Романье, что... осуждение Гибеллинов, даже в устах детей и женщин, приводило его в такую безумную ярость, что он кидал в них камнями, если не хотели они замолчать. И с этою ненавистью в душе жил он и умер»[20]. Чтобы этому поверить, мало слышать это от очевидцев, как, вероятно, слышал Боккачио, – надо бы своими глазами увидеть, как Данте, побывавший в Раю, трижды обнятый там апостолом Петром и благословленный апостолом Иоанном, – подбирая камни с дороги, кидает их в детей и женщин. Но если даже это только гвельфская злая легенда и клевета, то все же знаменательно, что люди могли ей поверить и ничего не нашли в жизни и творчестве Данте, чтобы ее опровергнуть. А если

«по дыму узнается огонь», то, может быть, и в этой лжи есть искра какой-то неизвестной людям, непонятной им, правды[21].

«Должно отвечать на такие зверские глупости не словами, а ударами ножа», – говорит Данте об одной из бесчисленных, сравнительно невинных, человеческих глупостей[]. Между этим «ударом ножа» и тем подобранным с дороги, но, может быть, не брошенным в ребенка или женщину камнем есть внутренняя связь. Маленький камешек этот сродни той огромной скале, которою Данте будет раздавлен в Чистилище.

Orlando Furioso – Alighieri Furioso. «Бешеный Орланд – Алигьери Бешеный». Страшен Данте, в иные минуты, как человек в падучей или бесноватый; и жалок, как маленькое дитя в «родимчике». Но прежде чем судить его за это страшное и жалкое, надо понять и разделить муку этого «свирепейшим негодованием растерзанного сердца», – его бесконечное против мирового зла возмущение; а кто посмел бы сказать, что он понял их и разделил? Прежде чем судить Данте за явную жестокость, надо почувствовать тайную нежность его, – бьющий подо льдом, на дне замерзшей реки, теплый родник.

«Был он, в речах, медлен и скуп», – вспоминает Бруни, и Боккачио: «Данте редко сам заговаривал, если ему не предлагали вопроса». – «Больше любил он молчать, чем говорить», – подтверждает и Марио Филельфо. Может быть, никто не обладал такою властью над человеческим словом, как Данте; но иногда он, в самом для себя святом и глубоком, так же «косноязычен», как Моисей. Знает силу слова, но и бессилье его тоже знает: если от смертного сна не разбудило людей Слово, ставшее Плотью, то уже не разбудят их никакие слова. Данте, безмолвный в мире безумном, – как человек с вырванным языком, в доме, где пожар.

Только с демонами и Ангелами он все еще говорит, когда уже молчит с людьми:

Вы, движущие мыслью третье Небо,
услышьте то, что сердце мое говорит,
и чего никому я сказать не могу...
таким оно кажется странным мне самому.

«Странное сердце» – странное лицо. «Что-то демоническое в нем», – мог бы сказать Гёте.

Вечное лицо Данте лучше всего поняли двое: один из самых близких к нему людей, Джиотто, и один из самых далеких, – Рафаэль. Сочетание мужественного с женственным в этом лице понял Джиотто, а Рафаэль – сочетание старческого с детским: древнее-древнее, ветхое днями, дитя, как тот этрусский бог вечности – седовласый, новорожденный младенец. Вечное блаженство Данте понял Джиотто, а вечную муку его – Рафаэль: тот остролистный лавр, которым он венчает Данте, кажется иногда колючим, как терн, и огненным, так что все лицо под ним обожжено и окровавлено.

Отяготела на мне ярость Твоя...
Я несчастен и истаиваю с юности; несу ужасы Твои и изнемогаю... Для чего, Господи, отвергаешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? (Пс. 87, 8—16), —

этот вечный вопрос без ответа послышался бы, может быть, тому, кто увидел бы и понял, как следует, вечное лицо Данте.

...И мы пришли в то место, где другие,
Чьи лица вверх обращены, лежат,
Окованные крепким льдом,

И самый плач их плакать им мешает,
Затем что, прегражденный на глазах,
Уходит внутрь, усиливая муки;
И наполняют впадины очей, —
Подобные стеклянному забралу,
Все новые, непролитые слезы...
И вдруг один из ледяной коры,
Нам закричал: «Безжалостные души,
Низвергнутые в этот нижний круг,
Снимите с глаз моих покров жестокий,
Чтоб хоть немного выплакать я мог
Теснящую мне сердце муку прежде,
Чем новые в очах замерзнут слезы!»

Так же, как эти мученики ада в вечных льдах, смотрит и Данте на мир из ледяной, наплаканной глыбы слез.

Встретился, может быть, и с ним, как с древним пророком Израиля, огненный Серафим, в пустыне мира, и сделал с ним то же, что с тем: мечом рассек ему грудь

И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

С углем раскаленным в груди и с замерзшими на глазах, не тающими слезами, каково ему жить, то горя в вечном огне, то леденея в вечных льдах!

XVIII
СВЕТ АЛЕБАСТРОВЫХ ОКОН

После поругания своего при дворе Большого Пса, Кане Гранде Низкого, Данте снова исчезает с лица земли, так же бесследно, точно проваливается сквозь землю, как после кончины императора Генриха VII, Арриго Высокого. И если бы в эти дни Данте умер, то бесславно-глухую смерть его люди забыли бы, и никакого следа не оставила бы она в их памяти. В этой черной тьме забвения только два тусклых света: один – от народной легенды, сохранившейся в очень древнем, от первой половины XIV века, хотя и явно подложном, письме брата Илария[1]. Некоторые историки относят это письмо к довольно сомнительному путешествию Данте во Францию, в ранние годы изгнания, но кажется, его можно отнести, с большею вероятностью, к последним годам.

Брат Иларий, инок Бенедиктинской обители Санта-Кроче-дель-Корво, в Апуанских Альпах, на побережье Лигурии, увидев однажды подошедшего к монастырским воротам и остановившегося у них незнакомого путника, спросил: «Что тебе нужно?» И когда тот ничего не ответил, как будто не слышал вопроса, погруженный в задумчивость, – спросил еще раз: «Что тебе нужно? Чего ты хочешь?» – «Мира!» – ответил путник, и, только вглядевшись в смертельно усталое лицо его, брат Иларий понял, какой глубокий смысл имеет, в устах невинного изгнанника, Данте, творца «Божественной комедии», это для него святейшее слово: «Мир».

Другая светлая точка исторической памяти в черной тьме забвения – то, что, вероятно, сам Данте говорит устами св. Петра Дамианского, в одной из предсмертных песен «Рая», о своем предпоследнем убежище в святой обители ди-Фонте-Авеллана, в мрачном и диком

ущелье Умбрии, на такой высоте Апеннин, что оттуда видны оба моря – Адриатическое, на востоке, и Тирренское, на западе[2]:

В Италии, между двумя морями
Близ родины возлюбленной твоей,
Возносятся Катрийские утесы
Так высоко, что гром гремит под ними.
Там есть обитель иноков святых,
Одной молитве преданных; там жил
И я, в служенье Богу; только соком
Олив питался, легко
Переносил я летний зной и стужу
Суровых зим...
Блаженствуя в чистейшем созерцанье[3].

В ясные осенние или зимние дни, глядя с головокружительной вышки Катрийских утесов, где снег сверкал ослепительно, на тускло-багровое солнце, восходившее над не похожей ни на что земное, воздушно-зеленой, как второе небо, полосой Адриатики, Данте еще не знал, но, может быть, уже предчувствовал, что солнце это будет для него светилом не времени, а вечности.

Глядя с той же вышки на протянувшуюся внизу, у самых ног его, как ожерелье исполинских жемчужин, голубовато-серую цепь Тосканских гор и стараясь угадать невидимую между ними точку Флоренции, он тоже еще не знал, но, может быть, уже предчувствовал, что этот взгляд его на возлюбленную – ненавистную, чужую – родную землю будет последним и что никогда не исполнится то, на что он надеялся:

Коль суждено моей священной песне,
К которой приложили руку
Земля и небо, – сколько лет худею,
Трудясь над ней! – коль суждено
Ей победить жестокость тех, кем изгнан
Я из родной овчарни, где, ягненком,
Я спал когда-то... то вернусь в отчизну
Уже с иным руном и с голосом иным,
Чтоб там же, где крещен я, быть венчанным[4].

Если верить очень древнему воспоминанию или преданию авелланских иноков, несколько песен «Рая» написаны Данте в этой обители. Но не ужился он и здесь. Судя по обличению св. Петра Дамианского или самого Данте:

Когда-то плод обильный приносила
Катрийская обитель небесам,
А ныне сделалась такой бесплодной,
Что скоро все о том, к стыду ее, узнают[5], —

эта заоблачная обитель, где жили некогда люди, подобные Ангелам, сделалась убежищем сытых и праздных монахов, низких или ничтожных людей, – почти таким же свиным хлевом Цирцеи, как Веронская богадельня Муз.

Сам ли Данте бежал оттуда, грубо ли выгнали его или ласково выжили монахи, – приговоренный к смерти, изгнанник, никому не желанный гость, – но снова пришлось ему, как после Вероны, укладывать и навьючивать ту же нищенскую рухлядь на того же ободранного мула или хромого осла, чтобы с горных вершин, где он беседовал с Ангелами, сойти в земные долины, где будет молчать с людьми. Снова скитаясь по миру, то восходя на вершины надежд, все более призрачных, то падая в пропасти все более неземных отчаяний, продолжал он себе ломать и сращивать кости, как Вечный Жид.

В жизни каждого гордого нищего наступает минута, когда ему кажется, что лучше умереть, чем протянуть за милостыней руку. Наступила, вероятно, такая минута и в жизни Данте. Достовернейший, потому что любовнейший из всех его жизнеописателей, Боккачио, произносит об этих последних, самых черных днях его изгнания страшное слово: «отчаяние», disperazione[6].

Мужественнейших людей соблазняет иногда, на последнем пределе отчаяния, мысль об остро отточенной бритве или скользко намыленной петле – конце всех мук. Слишком хорошо знал Данте, что начатое во времени продолжится в вечности, чтобы на этой мысли, если она мелькала у него, останавливаться больше, чем на миг; но, может быть, и мига было довольно, чтобы осквернилась им душа, как тело оскверняется проползшей по нем ядовитою гадиной.

Где-нибудь в дрянной гостинице или в ледяной монастырской келье для нищих гостей, развязав с трудом окоченелыми от холода пальцами шнурки кошелька, высыпал деньги на стол, пересчитал, увидел, что хватит на столько-то дней, и подумал: «А после что?» Милостыни просить уже не у владетельных князей, а у прохожих на улице? Надо для этого сделаться великим святым, новым Франциском Ассизским. Не проще ли спрятаться где-нибудь в кустах, лечь на дне оврага и покорно ждать смерти, как ждет ее свалившийся под непосильною ношею, злым и глупым погонщиком захлестанный мул? Прежде он боялся бессмысленно-случайной и бесславной смерти, под ножом разбойника или одного из бесчисленных гвельфских врагов своих, который пожелал бы исполнить смертный приговор Флорентийской Коммуны над «врагом отечества»; прежде боялся этого, а теперь, может быть, хотел, как избавления от долгих мук.

Сколько часов, дней или месяцев был Данте на краю гибели, этого люди никогда не узнают; но должны бы знать, что в эти страшные дни он мог, в самом деле, умереть, как собака на большой дороге, к вечному стыду не только Италии, но и всего человечества.

Данте был спасен от гибели только тем, что слепые люди называют «случаем», а видящие – Промыслом.

«Был, в эти дни, государем Равенны, славного и древнего города Романьи, благородный рыцарь, по имени Гвидо Новелло да Полента, воспитанный в свободных науках и почитавший всех доблестных мужей, особенно же тех, кто превосходствовал в знаниях, – вспоминает Боккачио. – Когда дошел до него слух о том, в каких отчаянных обстоятельствах находился бывший тогда в Романье Данте, о чьих высоких достоинствах он давно уже знал по молве, то решил он принять его и почтить. И, не ожидая, чтобы тот его об этом попросил, потому что в великодушном сердце своем он чувствовал, как достойные люди стыдятся просить – сам пошел к нему навстречу и просил у него, как особой милости, того, о чем Данте, как знал Гвидо, должен был его просить, а именно, чтобы он согласился у него жить. И так как эти два желания, просящего и просимого, совпали, и великодушие благородного „рыцаря пришлось по сердцу Данте, а крайнею нуждою он был, в эти дни, как бы схвачен за горло, то, по первому же зову Гвидо, поспешил он в Равенну, где тот принял его с почетом, удовольствовал всем, что нужно для безбедной жизни, и умершую было надежду в нем воскресил“[7].

Верно и глубоко понял Боккачио истинную цену того, что сделал Гвидо Новелло для Данте. Понял, вероятно, и сам Данте, только что увидел его лицом к лицу, что это не благодетель, а друг, и что не государь оказывает честь нищему изгнаннику, а он – государю. Как всегда бывает в братской помощи, милостивы были друг к другу оба равно, – тот, кто помогал, и тот, кто принимал помощь.

Вечная слава Гвидо Новелло не то, что он, спасая Данте, спас для мира «Божественную комедию», а то, что человек спас человека, брата – брат, когда на крик погибающего: «Есть ли в мире живая душа?», он один ответил: «Есть!»

Данте – человек, попавшийся на большой дороге разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живого; лучшие же современники Данте подобны левиту и священнику, которые прошли мимо того человека, а милостивый Самарянин – Гвидо Новелло. После Беатриче сделал для Данте величайшее добро он: та спасла душу его, а этот спас тело; но иногда и тело стоит души: надо его спасти, чтоб не погибла душа.

Многое должны были простить друг другу Гвидо и Данте. Два государя, возвысившие род Полента, Бернардино и Ламберто, яростные Гвельфы, усердно помогали мечом и советом «флорентинцам негоднейшим», в их войне-восстании против Арриго Высокого, «Посланника Божия», чья кровь была на них и на всем роде Полента[8]. Это должен был Данте простить Гвидо, а тот ему – жестокие оскорбления рода его, в «Комедии», где заклеймены Полента, как злейшие «тираны», поджигатели вечных войн и «приблудные дети», выродки[9], а родственники Гвидовой супруги – как «фальшивомонетчики»[10].

Может быть, таинственно сблизила оскорбленного с оскорбителем и помогла им друг друга простить грешная для мира, но для них святая память Франчески да Римини, чья кровь текла в жилах Гвидо: отец Франчески был братом его отца.

* * *

Земля, где Данте нашел последнее убежище, Равенна, была родной землей Франчески:

Я родилась на берегу, у моря,
Куда с притоками своими По
Вливается, чтоб вечный мир найти[11].

Вечною бурей гонимая, в подземном аду, жаждет Франческа вечного мира так же неутолимо, как Данте – в аду земном.

О, милая, родная нам душа...
Владыку мира, будь Он нашим другом,
Молили б мы дать мир тебе за то,
Что пожалел ты нас в великой скорби![12]

Эта мольба отверженных Богом, такая робкая, что не смеет сделаться молитвой, будет исполнена: как бы сама Франческа, подземная сестра Беатриче Небесной, даст «родной душе» Данте, в своей родной земле вечный мир.

Гвидо Новелло был поэтом, учеником Данте в «сладком новом слоге» любви, doice stil nuovo. Может быть, и это их сблизило.

Кто умирает, любя, тот вечно живет, —

это, сказанное Гвидо, могла бы сказать и Франческа[13].

Отдых сладчайший должен был почувствовать Данте, только что вошел наконец не в чужой, а в свой собственный дом, может быть, у церкви Св. Франциска Ассизского, древней византийской базилики Сан Пьетро Маджиоре, где и похоронить себя завещает[14]. Верно угадал Гвидо, что жить ему будет отраднее не у него во дворце, а в своем собственном доме[15]. Видно, по этой догадке, как сердечно-тонок и умен был Гвидо в своей любви к Данте.

О, какой сладчайший отдых для усталого странника войти в свой дом и знать, что можно в нем жить и умереть; какое блаженство не чувствовать горькой соли чужого хлеба и крутизны лестниц чужих! Какая была отрада для Данте, разложив на столе пожелтевшие листки неоконченной «Комедии», знать, что не надо будет их снова связывать в пачки и укладывать в дорожную суму; не надо будет снова увязывать нищенскую рухлядь в тюки все более жесткими и все больнее, с каждой укладкой, режущими пальцы, веревками; не надо будет просыпаться в ночной темноте, в привычный час бессонницы, чтобы пересчитывать в уме последние гроши и, обливаясь холодным потом от ужаса, думать: «Хватит на столько-то дней, а после что?» Какой сладчайший отдых лечь в постель и знать, что злая Забота не разбудит до света петушьим криком на ухо, не стащит одеяла, не подымет сонного и не погонит снова, как Вечного Жида с горки на горку, из ямки в ямку, ломать и сращивать кости!

«Только одного желал он – тени, тишины и покоя», – верно понял Петрарка[16]. Этого искал Данте везде, всю жизнь, но только здесь, в Равенне, в конце жизни, нашел. Лучшего места нельзя себе и представить для последнего убежища Данте, чем ветхая днями Равенна – могила веков, колыбель вечности.

> *Ангел... стоящий на море и на земле, поднял руку свою и клялся Живущим во веки веков... что времени больше не будет (Откр. 10, 5—6).*

Клятва эта здесь, в Равенне, как будто уже исполнилась: так же, как отступило от нее море, оставляя за собою дали необозримых болот, – отступило и время, оставляя за собою память необозримых веков[17].

Понял ли бы Данте, почему св. Петр Дамианский называет Равенну «Римом вторым», secunde Roma, и почему второй Рим может быть древнее и святее первого, по счету неземных веков-вечностей? Понял ли бы глубокий смысл простодушной легенды варваров о том, что Равенна основана за тысячу лет до Авраама и почти за две тысячи лет до Рима?[18] Если и не понял бы умом, то сердцем, вероятно, почувствовал, почему именно отсюда, из Равенны, начал свой орлиный полет величайший для него из сынов человеческих Цезарь:

> *...выйдя из Равенны*
> *и перейдя за Рубикон, в таком полете*
> *вознесся он, что этого сказать,*
> *ни описать нельзя[19].*

Сердцем, вероятно, почувствовал Данте, что веявшие здесь над ним вечные тени прошлого, от Цезаря до Юстиниана, суть вещие знамения будущего; что Равенна – посредница между Востоком и Западом, пророчица грядущего соединения их в той новой всемирности, чьим пророком был и сам Данте. Сердцем он, вероятно, почувствовал, почему именно здесь родилось и умерло и, может быть, ждет своего воскресения то, что он любил на земле и во что верил больше всего, – Рим – бывшая Сила, будущая Любовь: Roma – Amor.

Около Равенны, верст на тридцать, тянулся по берегу моря вековой сосновый бор, Пинета, чьи исполинские деревья были праправнуками тех, из которых Август строил

корабли для Равеннской гавани, Классиса[20]. «В этом лесу... Данте часто бродил, одинокий и задумчивый, слушая, как ветер шумит в соснах», – вспоминает Бенвенуто да Имола, в истолкованиях «Комедии»[21].

Шуму сосен, такому ровному, даже во время сильного ветра, что не испуганные им птицы продолжали петь, отвечал далекий и такой же ровный шум адриатических волн, как отвечает голосам человеческим во времени Глас Божий в вечности. Пели птицы, жужжали пчелы, журчали воды, благоухали вересковые так сладко в этом лесу, что он сделался для Данте прообразом того «Божественного Леса», foresta divina, который неувядаемо цветет на вершине «Святой Горы Очищения»:

И слышал я в листве деревьев райских...
Как бы далекий гул колоколов,
Такой же точно, как в бору сосновом,
На берегу Киасси, в час ночной,
Когда сирокко знойный дует с моря[22].

Если первое чувство только что умерших – новорожденных в вечную жизнь, – удивление, то, может быть, Данте испытывал нечто подобное, узнавая Равенну. Было для него удивительно то, как здесь, на каждом шагу, попирала нога его утучненную прахом великих царей и кровью святых мучеников напоенную землю. Был для него удивителен шорох сухих тростников и тихий звон мошкары болотной там, где гремели некогда медные колеса римских квадриг, в исчезнувшем, как утренний туман над болотом, великолепном пригороде, Цезарее, соединявшем Равенну с Классийскою гаванью[23]. Было для него удивительно то, как в искрящихся на стенах и сводах равеннских базилик, византийских мозаиках – живописи из драгоценных камней по золотому полю, – события веков становятся видениями вечности.

От временного к вечному придя,
Каким я поражен был изумленьем![24]

И в той надгробной часовне, где, под золотыми звездами в глубоко синей ночной синеве четырех небесных сводов, покоятся в двух исполинских гробах римская императрица Галла Плацидия и супруг ее, последний римский император Запада, Валентиниан III, – с каким удивлением бесконечным увидел Данте, в полукруглой мозаике, над входом в часовню, Доброго Пастыря с юношески безусым и безбородым лицом, напоминавшим Орфея. Крест, вместо кифары, держит Он в левой руке, а правую – лижет одна из овец, пасущихся на цветущем лугу, под вечерним небом, таким же ясным, как божественное лицо Пастуха. Данте, может быть, и сам не знал, страшен ли для него или желанен этот невиданный, неузнанный, не Восточный и не Западный, а соединяющий Запад с Востоком, грядущий Вселенский Христос.

Но всего удивительнее был свет базилик, проникающий сквозь прозрачно-тонкие, в окнах, дощечки алебастра, золотисто-желтый и теплый, как мед на солнце, ни на что земное не похожий, не дробимый в лучи и теней не кидающий свет как бы нездешнего Солнца – Агнца.

Не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном...
Ибо светильник их – Агнец (Отк. 22, 5; 21, 23).

Маленький, сгорбленный, седой старичок (Данте узнала ли бы в нем не только Джемма, но и сама Беатриче?), стоя на коленях между исполинскими столпами такого же, как тот невиданный свет, золотисто-желтого мрамора, под главным сводом над жертвенником, в базилике Св. Виталия, поднял глаза к изображенному в круглой мозаике на самом верху свода, таинственному, от создания мира закланному Агнцу, и светлые тихие слезы лились по лицу старичка[25]. Может быть, только теперь понял Данте, какое чудо Божественного Промысла совершилось над ним; понял, что значит:

Пить мучеников сладкую полынь[26].

Горькие травы нужны пчелам, чтобы извлечь из них сладчайший мед; так и ему нужны были все муки его, чтобы извлечь из них сладость Божественной Песни. И греясь в теплоте нездешнего Солнца – Агнца, как греется на утреннем солнце окоченевшая от ночного заморозка пчела, оттаивало леденевшее столько лет, в вечных льдах, сердце Данте. И только теперь, в этом невиданном свете, увидел он Рай.

...Таков был этот Свет,
Что, если б от него отвел я очи,
То слепотою был бы поражен.
Но выносить его я мог тем легче,
Чем дольше на него смотрел. О, Благодать
Неисчерпаемая, ты дала
Мне силу так вперить мой взор в тот Свет,
Что до конца исполнилось виденье![27]

Если видеть Неизреченного лицом к лицу есть величайшее блаженство, какое может испытать человек на земле, но не может вынести, не умерев, то Данте его испытал в видении Рая и, может быть, умер от него.

Узнанного на небе он уже никогда не забудет на земле.

На пройденные сферы оглянувшись,
Увидел я под ними шар земной —
Песчинку жалкую, и усмехнулся
Ее ничтожеству...
И между тем, как я, влекомый вечным
Созвездьем Близнецов, вращался, – весь,
От гор и до морей, являлся мне
Комочек грязи той, что делает такими
Нас лютыми в борьбе из-за нее.
И обратил я вновь глаза к глазам прекрасным[28], —

к возносившим его «выше сфер высочайших», глазам Беатриче[29].

Данте начал писать «Рай» еще до Равенны, но кончил его только здесь, в три-четыре последних года жизни. Все эти годы длилось видение Рая, самое ясное и, может быть, самое близкое к тому, что действительно есть рай. Но, дописав последний стих последней песни:

Любовь, что движет солнце и другие звезды, —

проснулся от этого видения, сошел с неба на землю и продолжал на ней жить, – с каким чувством, – об этом он сам говорит:

...Не знаю, долго ли еще
Я проживу, но чем скорей сюда вернусь,
Тем лучше.

«Сюда» – из этого мира в тот, – из временной чужбины на вечную родину.

О, Беатриче, ты – моя надежда;
Ты для моего спасенья в ад сошла...
Ты сделала меня, раба, свободным...
Освободи же до конца,
Чтоб дух, от плоти разрешенный,
К тебе вознесся!

Эта молитва скоро исполнилась: Данте освобожден был тем, что казалось людям смертью его, но было для него самого вечною жизнью – Раем.

XIX
РАЙ

Данте не был одинок в Равенне, или казалось, что не был: двое старших сыновей, Пьетро и Джьякопо, приехали к отцу из Вероны; приехала и дочь, Антония, из Флоренции[1]. Судя по тому, что, девушкой, она покинула мать, чтобы приехать к отцу, а после его смерти постриглась в одной из равеннских обителей, под именем, для них обоих святым, Беатриче, – она любила отца и была им любима больше всех детей[2]. Были у него и ученики, в Равеннской высшей школе, подобии Университета, Studio Pubblico, где согласился он быть учителем итальянского «народного» языка, vulgare, и поэзии, может быть, для того, чтобы самому зарабатывать хлеб; хотя и не горек был ему хлеб великодушного хозяина, а свой все-таки слаще, и, может быть, догадавшись о том, Гвидо предложил ему этот заработок[3].

Были у него и друзья: два нотариуса, сер Пьетро Джиардино и сер Менгино Меццани (Menghino Mezzani), городской врач, Фидуччи де Милотти (Fiduccio de Milotti) и, вероятно, многие другие. Кое-кто из них пописывал стишки и почитывал «Комедию»[4]. Все они были, кажется, хорошие люди, благоговейные почитатели Данте, преданные ему душой и телом. Но в самом глубоком и дорогом для него он был им не понятен и не нужен. А если бы они его поняли, то, может быть, огорчились бы или испугались, как дети пугаются незнакомого человека со страшным лицом.

Как непонятен и неизвестен был Данте самым близким людям, даже родным, видно по двум составленным его сыновьями, – Пьетро, ученым законоведом, и Джьякопо, ученым каноником, – огромным схоластическим истолкованиям «Комедии», где не сумели они сказать ничего, кроме общих мест и ученых пустяков[5]. Видно это также из того, что, когда, по смерти Данте, тринадцать последних песен «Рая» считались потерянными, Пьетро и Джьякопо вздумали присочинить их от себя, что справедливо называет Боккачио «самомнением глупейшим»[6]. Мало скромности и в том плохеньком сонете, посвященном Гвидо Новелло, где Джьякопо Алигьери, посылая ему первый полный список «Комедии», называет ее «своей сестрой», mia sorella, потому что один отец у них обоих – Данте[7].

Кто я такой, не стоит говорить:

Еще мое не громко имя в мире[8].

Громче ли имя его и лучше ли знают люди, кто он такой, в самом конце его пути, нежели в середине, – можно судить по многим исторически-подлинным свидетельствам. В те самые дни, когда он пишет последние песни «Рая», некий Джиованни дель Виржилио (имя это он присвоил, думая, вероятно, сделать честь не только себе, но и Виргилию), учитель латинского языка и поэзии в Болонском университете, учит Данте в стихотворном послании, о чем ему должно писать, советуя перейти с «низкого» итальянского языка на «высокий» латинский. И гордый Данте, в угоду этому маленькому грамматику, смиренно рядится в двух ответных латинских эклогах в Аркадского пастушка, Титира[9]. «Данте писал латинские эклоги и еще *кое-что*», – вспоминает один итальянский гуманист XVI века; это «кое-что», забытое, – «Божественная комедия»[10].

Всем понятный и не скудными, как Данте, лаврами венчанный Петрарка, не завидуя «шумным рукоплесканиям мясников, красильщиков и харчевников, приветствующих Алигьери, предпочтет быть вдали от него, в сообществе Гомера и Виргилия»[11].

В те же дни последних песен «Рая» некий Чекко д'Асколи (Cecco d'Ascoli), ученый астролог, человек неглупый, хотя и бездарный поэт, тоже гость Гвидо Новелло, уличает Данте в «маловерии», которое «довело его до ада», откуда он «уже не вернется», и доказывает, что Данте «сочинял пустяки»[12].

В те же дни, при Авиньонском дворе папы Иоанна XXII, судьи Святейшей Инквизиции начинают дело о покушении Миланских герцогов, Маттео и Галеаццо Висконти, извести папу колдовством, при помощи маленького, не больше ладони, серебряного человечка, голого, с вырезанной на лбу надписью: «Папа Иоанн», с колдовским, на груди, знаком и словом «Амаймон». После первой неудачной попытки герцога Маттео убедить одного миланского священника, слывшего чернокнижником, произвести над человечком нужное для смерти папы колдовство, сын Маттео, Галеаццо, снова призвал того же священника и доказывал ему, что смерть этого папы, сделавшего столько зла Гибеллинам и, через них, Италии, будет для нее великим благом. А в заключение прибавил, как сильнейший довод: «Знай, что для того же самого дела, как тебя, я вызвал и магистра Данте Алегьери, гражданина Флоренции»[13].

В те же дни некий Гвидо Вернани, доминиканец, в книге о Дантовой «Монархии» доказывает, что «этот болтливый софист... смешивающий философию с вымыслом... и соблазняющий сладким пением Сирены... не только малосведущих, но и ученых людей, – есть не что иное, как сосуд дьявола»[14].

«Многие... подозревали Данте в ереси и думали, что он патарин» (манихеянин), – вспоминает Джьякопо дэлла Лана, первый истолкователь «Комедии»[15]; то же подтвердит и неизвестный писатель XIV—XV веков: «В те дни, когда писал Данте книгу свою („Комедию"), многие, не поняв ее, как следует, думали, что он поврежден в вере»[16].

В 1327 году, шесть лет по смерти Данте, францисканский монах, Фра Аккорзо, поставленный папой Иоанном XXII инквизитором «еретической злобы» в Тоскане, произведет следствие над «Комедией», чтобы знать, нет ли в ней «ереси». А в следующем году сожжет за ересь того самого Чекко д'Асколи, который уличал Данте в «маловерии»[17].

В 1329 году кардинал Бертрандо дэль Поджетто (Poggeto), производивший следствие о «колдовстве» Данте, сожжет на костре его «Монархию» и если не сделает того же с вырытыми из земли костями его, то не по своей вине[18].

Знал ли Данте, что новая туча нависла над ним? Если и знал, то, вероятно, был спокоен и думал с тихой усмешкой: «Не успеют!» Глупостью и злобой человеческой уже не возмущался; ничего от людей не ждал и ни на что от них не надеялся. Мир шел помимо него и против него; это видел он и принимал тем легче, что тот мир становился для него

все действительнее, а этот все призрачней. «В небе смирения, там, где Мария»[19], побывал недаром: новое, неведомое чувство – жалость к врагам, прощение обид, – сходило в душу его, как райское веянье. Не было в земном аду столь вечных льдов, чтобы не растаяли они на сердце его, в теплоте «нездешнего Солнца – Агнца». Тихим светом горела в душе его мысль о Ней, Единственной, как в вечернем небе горит звезда Любви.

Был час, когда пловец душой стремится
К родной земле, где, в горький день разлуки,
Сказал он всем, кого любил: «Прости!»
Был час, когда паломника любви
Волнует грустью колокол далекий,
Как будто плачущий над смертью дня[20].

Этот час наступил и для Данте, но сердце его над смертью временного дня уже не плакало, а рождению дня незакатного радовалось. В тихих шагах близящейся смерти слышались ему знакомые шаги Возлюбленной. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка... с миром, ибо видели очи мои спасение Твое» (Лк. 2, 29—30), – это мог бы и он сказать. Так же несомненно, как то, что жил, страдал и любил, он знал, что спасен. И ходил, как ходит овца на пастбище, под взором Доброго Пастыря.

Господь – Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим... Если пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня (Пс. 22, 1—4).

Летом 1321 года произошло событие ничтожное, но едва не сделавшееся роковым для Гвидо Новелло: глупая ссора и драка пьяных корабельщиков на двух судах, равеннском и венецианском. В драке убит был капитан венецианского корабля и его помощник, вместе с несколькими матросами, а корабль захвачен равеннцами в плен. Этого было достаточно, чтобы нарушить мир между маленькой Равеннской Коммуной и великой царицей Адриатики, а война между ними означала бы гибель Поленты. Большей опасности он еще никогда не подвергался: каждого из соединившихся против него союзников Венеции было довольно, чтобы его уничтожить. Земли его отовсюду были окружены врагами: с устья По и с моря грозил ему венецианский флот, а с суши – войска двух могущественных кондотьеров, Орделаффи да Форли и Малатеста да Римини. Не было для него другого спасения, кроме искусных переговоров о скорейшем восстановлении мира[21].

Может быть, верно угадывая в Данте не только великого поэта-созерцателя, но и государственного деятеля, Гвидо просил его отправиться, для ведения переговоров, в Венецию, и Данте согласился на это, должно быть, не с легким сердцем, потому что все еще и после четырехлетнего отдыха ныли у него кости, как у невыспавшегося человека – от вчерашней усталости[22]. Но другу в беде не помочь он не мог: миром хотел отплатить ему за найденный на земле его мир.

В середине или конце августа Данте, во главе посольства, отправился в Венецию, где натолкнулся, кажется, на большие трудности, чем думал Гвидо[23]. Как Данте преодолел их или только пытался преодолеть – неизвестно, потому что из Венецианских архивов, где сохранились все грамоты об остальных посольствах Равеннской Коммуны, исчезли только те, где говорится о посольстве Данте, как будто нарочно выкрал их оттуда приставленный ко всей жизни его, демон Забвения[24]. Но, судя по тому, что мир был все же заключен, его

основания заложены были не кем иным, как Данте; а если так, то последнее дело его на земле – это, для него святейшее и величайшее из дел человеческих, – Мир.

Данте и спутники его возвращались в Равенну обычным для тогдашних посольств, трехдневным путем, соединявшим обе столицы Адриатики, – не морем, где плавание было слишком продолжительно и опасно, а сушей или, вернее, полуморем, полусушей. В лодке переплыли через венецианские лагуны, вдоль песчаных отмелей Маламокко и Палестрины, до Киоджии (Chioggia), а оттуда, по суше, на конях или мулах, доехали до местечка Лорео, где заночевали. На следующий день переправились через устье По со многими рукавами на больших плоских огражденных перилами дощаниках, где помещалось не только множество пеших и конных, но и целые тяжелые, запряженные волами, телеги. Так доехали до бенедиктинской обители, Помпозы, чьи великолепные, многоцветными изразцами украшенные, колокольни возвышались над цветущими садами и рощами, служившими для иноков неверной защитой от убийственных лихорадок соседних болот[25]. Путь третьего дня шел по узкому перешейку, или «языку земли», отделяющему Адриатическое море от Комакийских (Comacchio) лагун и болот.

Только что первые августовские дожди увлажняют и размягчают каменно-жесткий, летним зноем высушенный, растрескавшийся, черный ил этих бесконечных болот, как подымаются над ними испарения, такие густые, что в воздухе сине от них, как от дыма. Тихим звоном звенят на ухо путника тучи разносящих заразу болотной лихорадки, почти невидимых, прозрачно-зеленых мошек – зензан: «первый дождь – к смерти вождь», по зловещей поговорке тамошних жителей[26].

Последняя часть пути до Равенны шла, на несколько верст, сосновым бором, Пинетой. Снова увидел Данте «Божественный Лес», divina foresta, подобие земного Рая на святой Горе Очищения. Но слишком сладко пели в нем птицы, жужжали пчелы, журчали воды, благоухали цветы; слишком торжественно отвечал протяжному гулу сосен далекий шум адриатических волн, как всем голосам человеческим во времени отвечает Глас Божий из вечности: Данте чувствовал, что смертельная отрава «злого воздуха», malaria, уже течет в его крови[27].

И только что с яркого, знойного солнца вошел он в сырую, холодную тень равеннского дома своего (где так же, как почти во всех тамошних домах, подвалы залиты были водой наводнений), вспомнил он, может быть, слова Виргилия, перед сошествием в те глубочайшие пропасти ада, где начинаются несказанные муки и ужасы:

«Будь мужествен: теперь мы в бездны ада
Должны по страшной лестнице сойти».
Как человек, в болотной лихорадке,
Трясется весь, в предчувствии озноба,
И ногти у него уже синеют,
Едва вдали сырую тень завидит, —
Так, те слова услышав, я затрясся[28].

Много темных загадок в жизни Данте, но, может быть, темнейшая, – в смерти. В стену той комнаты, где умер, замуровал он тринадцать последних песен «Рая»: для чего он это сделал – вот загадка.

Нет никакого основания сомневаться – и лучшие знатоки равеннской жизни Данте не сомневаются – в свидетельстве Боккачио о загадочной пропаже и еще более загадочной находке этих песен[29]. Будучи в Равенне, в 1346 году, двадцать лет по смерти Данте, Боккачио мог видеть и слышать многих ближайших свидетелей последних дней Данте, в том числе и мессера Пьетро Джиардино, «давнего ученика и преданнейшего друга Данте»; «человека

основательного, который заслуживает доверия», – вспоминает Боккачио[30]. Он-то и рассказал ему об этой загадочной пропаже и находке.

Высшее, что создал Данте, – всей «Божественной комедии» вершина и глава, – эти тринадцать последних песен «Рая». Что же довело его до такого действительного или кажущегося безумия, что возлюбленное, в тридцатилетних муках рожденное дитя свое он обезглавил – убил?

Или, может быть, вовсе не убивал, а спасал? В те дни, когда добрые католики считали его «злым еретиком», «сосудом дьявола», и когда уже запахло от него дымом костра, – может быть, хотел он спасти то, что было ему дороже, чем он сам, – эти песни «Рая», – спрятав их в надежный тайник? Но если так, то почему же никому об этом не сказал и, по свидетельству Боккачио, «забыв о них, умер»[31].

Нет, кажется, действительная причина того, что сделал Данте с этими песнями, – не желание их спасти, а что-то другое. Что же именно?

В 1273 году, лет за пятьдесят до смерти Данте, внутренне очень ему близкий, хотя и противоположный человек, св. Фома Аквинский, месяца за три до кончины служа обедню, имел «восхищение», raptus, и когда пришел в себя, сказал другу своему и духовнику, Реджинальду: «Наступил конец моим писаниям, venit finis scripturae meae». Когда же тот умолял его кончить, по крайней мере, «Сумму теологии», – воскликнул: «Нет, не могу, все, что я написал, мне кажется соломой!» – «И велел сжечь „Сумму“, – прибавляет легенда; но уже и того довольно, что этим страшным словом о „соломе“ как бы сам ее сжег[32].

Может быть, нечто подобное произошло и с умирающим Данте. Маленьким людям то, что они сделали, кажется золотом, а великим – «соломой». Слово, сказанное, сделавшись внешним, так несоизмеримо с несказанным, внутренним, что правдивый человек не может этим не мучиться; вот почему один из правдивейших людей, Данте, – один из величайших мучеников слова.

Отныне будет речь моя, как смутный лепет
Грудь матери сосущего младенца[33], —

предупреждает он перед тем, как начать говорить о последнем, высшем видении Трех.

Вы, движущие мыслью Третье Небо,
услышьте то, что сердце мое говорит,
и чего никому я сказать не могу...
таким оно кажется странным
мне самому...
Странное сердце мое вам одним я открою.

Ангелам, движущим молча Третье Небо любви, умирающий Данте, может быть, открывает, так же молча, «странное сердце» свое, в ту минуту, когда замуровывает в стену последние песни «Рая».

Восхищен был Сосуд избранья, Павел,
На небеса, чтоб в людях укрепить
Начало всех путей спасенья – веру...
Но кто же я, чтобы взойти на небо.
И кем я избран? Сам я не считаю,
Вот почему страшусь,
Чтобы мое желанье вознестись

К таким высотам не было безумным[34].

Этот страх, испытанный в самом начале пути, овладевает им, может быть, и теперь, в самом конце.

Чтобы разгадать, хотя бы отчасти, загадку обезглавленной «Комедии», надо помнить, что именно в этих последних песнях «Рая» открываются, с большей ясностью, чем во всей остальной поэме, «тайна беззакония», совершающаяся в Римской Церкви, и готовящаяся к совершению в Церкви Вселенской тайна Трех. Может быть, Данте устрашился того, что открыл людям эти две тайны слишком рано; поднял самим Богом опущенную завесу, которую не должно было человеку подымать; переступил самовольно за черту, отделяющую Второй Завет от Третьего. Этого всего он, может быть, не сознавал, только смутно чувствовал; но чем смутнее, тем страшнее. Этим-то страхом обуянный, он и обезглавил «Комедию».

«Сына твоего, единственного твоего, возьми и принеси во всесожжение», – велит Господь Аврааму, – и поднял отец руку на сына; так же и Данте поднял руку на «Комедию». И только чудом Божьим отведены были обе руки.

* * *

В стенах тогдашних домов устраивались иногда «печурки», или «оконца», finestrette, для рукописей и книг[35]. Было такое оконце и в спальне Данте[36]. Может быть, давно уже выбрав его, чтобы спрятать песни «Рая» в этот надежный тайник, он приготовил для этого все нужное: глиняный горшочек с известью, малярную кисть, камышовую циновку, stuoia, молоток с гвоздями и тщательно связанные в пачку листки тех тринадцати песен[37]. Но долго не решался приступить к делу, все откладывал, мучаясь сомнением, надо ли это сделать или не надо. Может быть, только вернувшись из Венеции, уже больной, и чувствуя, что дни его сочтены, – решился.

В самый глухой час ночи, когда в доме все уже спали (никому еще не сказал, как тяжело болен), встал с постели, дрожа не только от озноба так, что зуб на зуб не попадал, – отпер сундук, вынул из него все нужное, подошел к оконцу, положил в него пачку листков, закрыл его циновкой, прибил ее к стене гвоздями, забелил известью так ровно, что ничего не было видно, и лег в постель умирать.

«Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Может быть, Данте в ту ночь потерял душу – и сберег.

* * *

«Данте умирает» – эти два слова прозвучали над Равенной, как похоронный колокол, в 1321 году, в ночь с 13 сентября на 14-е – день Воздвижения Креста Господня и поминовения крестных язв св. Франциска Ассизского[38]. В эту ночь не спал государь Равенны, Гвидо Новелло; не спали сыновья Данте и дочь его, ученики и друзья, может быть, не только те, кого он знал, но и многие другие, неизвестные.

Самые близкие к нему собрались в комнате, где он умирал. Уже причастившись, велел он надеть на себя темно-коричневую, грубого войлока, монашескую рясу нищих братьев св. Франциска: в ней хотел умереть[39]; в ней же и похоронить себя завещал, в часовне Пресвятой Девы Марии, у входа в равеннскую базилику, Св. Франциска, как бы «на пороге», in introitu, не только этой церкви, малой, ветхой, но и великой, новой, Вселенской[40].

Многие только теперь узнали, что Данте был иноком Францискова Третьего Братства: тот же глубочайший и святейший смысл, как во всей жизни его, имеет и здесь, в смерти, это слово: *Третий – Три.*

В длинной темной монашеской рясе, сложив руки крестом на груди, закрыв глаза, он лежал на постели, с таким неподвижно-каменным лицом, что смотревшие на него не знали иногда, жив он или умер; ошибиться в этом было тем легче, что часто и у здорового бывало у него такое же точно лицо. Может быть, он и сам не знал – жив он или умер: так непохоже было то, что он чувствовал, ни на что живое. Тело его то пылало в жару, как в вечном огне, то леденело в ознобе, как в вечных льдах. Но больше, чем тело, страдала душа: все еще не знал он, надо ли было сделать то, что он сделал, или не надо; спас ли он душу свою, погубив ради Того, Кто велел погубить, или, спасая ради себя, погубил.

Белое-белое, в черно-красной мгле, пятно стояло перед ним, и он знал, что будет вечно стоять – никогда не уйдет; и все не мог понять, что это; может быть, забеленное оконце в стене? Нет, что-то другое, неизвестное. Вдруг понял: это белое, ледяное и огненное вместе, леденящее и жгущее, – есть вечная мука ада – вечная смерть. Но только что он это понял, как услышал тихие знакомые шаги, и на ухо шепнул ему знакомый тихий голос:

Не узнаешь? Смотри, смотри же, – это я,
Я, Беатриче.

И он увидел наяву то, что некогда видел во сне, в видении:

Она явилась мне... в покрове белом

(вот что было то страшное, белое), —

На ризе алой, как живое пламя.
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать
Душа моя, в блаженстве, перед нею, —
Я, прежде, чем ее глаза мои
Увидели, уже по тайной силе,
Что исходила от нее, – узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к ней, древняя, как мир...
И тою же опять нездешней силой
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз.

Тихо уста припали к устам, и этот первый поцелуй любви был тем, что казалось людям смертью Данте, а для него самого было вечной жизнью – Раем.

* * *

Месяцев через восемь по смерти Данте произошло первое, но, может быть, не последнее чудо св. Данте.

После бесконечных поисков пропавших песен «Рая», когда уже перестали их искать, считая, что они безнадежно потеряны или даже вовсе не написаны (видно по этому, как Данте скрывал то, что делал, даже от самых близких людей), и когда сыновья его, Джьякопо и Пьетро, начали, с «глупейшим самомнением», присочинять от себя эти песни, – Данте явился Джьякопо, во сне, «облеченный в одежды белейшего цвета и с лицом, осиянным нездешним светом».

– Ты жив? – спросил его Джьякопо.

– Жив, но истинной жизнью, не вашей, – ответил Данте.

– Кончил ли «Рай»? – еще спросил тот.

– Кончил, – ответил Данте и, взяв его за руку, повел в ту комнату, где спал живой и умер, – прикоснулся рукой к стене и сказал:

– Здесь то, чего вы искали.

Спящий проснулся. Час был предутренний, но еще темно на дворе. Встав поспешно и выйдя из дому, Джьякопо побежал к мессеру Пьетро Джиардино и рассказал ему чудесное видение. И тотчас поспешили оба в дом, где жил Данте, нашли указанное место на стене, нащупали прибитую к ней циновку и, потихоньку отодрав ее, увидели никому не известное или всеми забытое «оконце», где лежала пачка листков, уже начавших тлеть и почерневших от сырости так, что если бы они еще немного дольше здесь пролежали, то истлели бы совсем. И только что искавшие в них заглянули, как увидели, с несказанной радостью, что это потерянные песни «Рая».

* * *

«Кончил ли ты „Рай“?» – спрашивает, в видении, Джьякопо. «Кончил», – отвечает Данте. А если б Джьякопо спросил: «Кончил ли ты, сделал ли все, для чего был послан в мир?» – Данте мог бы ответить: «Сделал».

Но он и в деле своем – не только в жизни и смерти – так презрен людьми и забыт, так неизвестен, что и теперь, через семь веков, люди все еще не знают, что он сделал. Мир, может быть, не был бы там, где он сейчас, – на краю гибели, если бы люди знали, что сделал Данте.